

П Р О З А

Голуби попадали с крыш, две тени сомкнулись в одну. Вревели старухи на детских площадках, удерживая смеющихся чад. Солнце вонзилось в середину циферного круга, разбрасывая в стороны фарфоровые фигурки часов.

Дети сгребали оглохших, парализованных птиц в большие кучи и, оросив их из канистр бензином, поджигали. Безцветные костры зияли в садах и на тротуарах. Заслонив руками лица от жара, дети стояли у порога огня, вглядываясь и чего-то ожидая. И вот медленно поднялась одна черная зыбкая тень, вторая, еще и еще... устремляясь из пламени в лазурный круг, взмывая, сбрасывая обугленное

оперенье. Глаза детей сузились, они повернулись спиной к огню.

Мимо Михайловского сада я шел, спустя час, мимо замка, огибая цирк. Ноги саднило от ходьбы, но счастливая пелена заволочла глаза. Дома и крыши, прохожие, небо, грязная вода в канале — отделились рыхлым тестом жары.

Размеренность пространства, в котором передвигалось мое тело, сушила покой, однако в великолепный сомнамбулический речитатив движения просочилось несколько искаженно-страстных ноток боли. С изумлением поднял я к глазам руку. Она была цела, ни единой капли крови не показалось на ней — текла незамутненная кожа. Я наклонился. Между ремешками сандалия на правой ноге застрял камешек. Но не он был причиной беспокойства. Все вместе: и отсутствие видимых причин, и само ощущение тревоги, и, возможно, боль, мелькнувшая в теле, подобно мысли, — удручило меня и, в который раз, повело по отупляющему пути привычного. Утром болело сердце, а ночью снилось, что болит сердце... я проснулся, кто-то стучал в дверь, и я открыл. Откуда боль? Почему она воплотилась мною? Ходит, шляется где-то под окнами, а не успеешь глазом моргнуть — тут как тут.

Очевидные истины меня всегда пугали. Я избегал их с упорством умалишенного, не находя в себе достаточно сил принимать такими, какими они были. Я готов был повторять сто тысяч раз известное до дыр, лишь бы смысл его миновал меня.

Мог болеть зуб. С таким же успехом могло ныть сердце.

Наверное, мне хотелось иногда выглядеть со стороны человеком, пережившим большое потрясение— так нищий мечтает не о куске хлеба, не о крове, а о миллионных состояниях.

О боли можно забыть. С ней можно бороться, противопоставив ей не-боль. Мне оставалось единственное— взрастить боль, взрастить ее, лелеять каждый ее росток до тех пор, пока не заполнит она мое существо без остатка, и я не стану лишь отражением самого себя—боли— дойти до предела.

Улица, на которой я оказался, была пустынна, как может быть пустынна улица между полднем и вечером где-то на окраинах июля. Отрадны летние руины, отрадны маленькие увечные улочки, иглу напоминающие, где дома стоят один за другим, а из крыш, из карнизов, из голов чадных гипсовых младенцев неуверенные хрупкие побеги тянутся, и не видать /где там!/, рек не видать, ветра не слышать, не падать лицом за птицей— тень бережет тебя и свет, вымостивший мостовую этой летней порой. Летом улицы вымирают.

Я постоял, наклонил голову и пошел восвояси. Зачем мне эта улица? Ну, и что с того, что здесь я жил просто и незатейливо, уповая Бог вещь на что. Что с того, что здесь я стал искать в душе своей некую идею провинции, взращивать ее, словно боль, стремясь добраться до ее пределов. И не имеет значения остальное, что происходило на этой улице, как не имеют— утратили его давно— теплые

нездешние вечера, пена мусора в утреннем ветре, окно, где мной раз можно было увидеть меня, и прочее, прочее...

Давно меня здесь нет. Я съехал отсюда. Много существует улиц, откуда я съезжал, отстраняя лживые предчувствия благодати, не веря, что будет мне дальняя дорога, что проникну во многие тайны природы, что ляжет на грудь пониже левого соска кровавая дама червей.

Там, за пределами этой, не моей улицы, было все. Там жена консула вводила в головокружительные лабиринты женского счастья моего приятеля, а здесь стоял я, тупо глядя, как пульсирует в окнах небесная плазма, предаваясь воспоминаниям, но весьма странным образом — обрывая их, лишь только возникали отчетливые очертания жеста, голоса, чего-то еще — лица.

Не надо было мне заходить сюда. Стоило увидеть, как солнце блещет в стеклах... Нет, и так все понятно. Ясно, что я никогда не жил на этой улице, в этом городе, в этой стране. Я вообще не жил эти годы. Ничто не переменялось тут и не переменится — детское лицо в двери останется детским лицом, и полумрак прихожей будет таким всегда, и я, стоящий здесь, останусь рядом с собой, спущенным по тротуару. Вообще ничто не меняется, так только... накапливается, подобно ружьяди в кладовой. Вчерашние вещи, сегодняшние вещи — цена одна.

Ах, если бы сказали мне, что спутник мой, живописец

~~Амбражевич~~ и мудрец Амбражевич, угодил под автомобиль с надписью прямыми эмалевыми буквами "хлеб" без малого восемь минут назад! С восторгом и слезами бросился бы я на поиски несчастного Амбражевича и, взращивая языком привкус никелированного хлеба, прижал бы к груди его окровавленную грудь и спросил бы:

- Ответь мне, Амбражевич, ты уходишь... куда? Послушай, тебе не жаль расставаться со мной, с ней, с нами, со своими уродами на холстах? Скажи, что ты помнишь о себе, живописец, и что доносится к тебе оттуда, из затверженных на зубок облаков?

Да кто придет по такой жаре сюда, кто принесет мне весть, что спутник мой умирает под двумя белейшими простынями на носилках подле пивного киоска; и аммиачный дух, не Авраил, выдавливая ему почерневшие очи! На пустом тротуаре уютно. Чернилами плещут афиши, под ноги..

Нигде я так не чувствовал себя уверенно и безмятежно, как на разогретом асфальте, даже в комнате, где прожил последние полгода, где томление и ярость не покидали меня ни на минуту. Третий этаж, окна на стену, на стене- голуби... Ты просыпаешься, глядя на стену, ты встаешь, умываешься, завтракаешь, уходишь, приходишь, ложишься и просыпаешься- голуби в голубом мраке расвета клокоцут; шорохи, стоны, голоса спящих, двор, заблудший кот на подоконник прыгает, голуби шепчут, голоса на стенах, льнут к камню, плющ и дикий виноград; по-

дымаешься, завтракаешь, втискиваешься в автобус.

- Давнехонько не заходили... Что принесли? - не иначе, так.

- Да вобщем-то ничего. Строк восемьдесят. Кузнец есть такой в Ярославле - слышали? - последний из могикан, так сказать, сталь варит на вкус, языком пробует, и, представьте себе, сталь классная у него, из НИИ приезжают, следят, анализируют.

- Фотографии?

- О чем речь! Вот. - И веером липкие, сладкие, тонкие.

- Одну минуточку... А это что - "мертвая бритва"?

- Ну, это он, его слова... говорит, что металл от луны оживает. На подоконник положил свою бритву, а утром она затупилась. Луны не было... А, может, наоборот.

- Бред какой-то, но забавно... Ладно, посмотрим, посмотрим.

- Так он же самоучка!

- Ладно, сказал. Посмотрим...

- Золотой материал! Русский человек, варит по наитию дамасскую сталь, восемь тысяч слов, никто не знает, и он не знает.

- Мы знаем.

- Что мы знаем?

- Что знаем, то знаем. Оставьте. А вообще, как дела? Изольде привет передавайте. Вы там передачу гото-

вите о пионерах, так уж смотрите... Мы тоже. В случае чего можем поделиться.

А вообще, дела ничего. Нормально дела. Вот в комнате подмету, пыль с книжек сдую. Скажите на милость: серое небо, Аустерлиц, наедине с небом, альпинизм... я слово позабыл, что я хотел сказать.

Картинки в книгах есть.

Одна из них мне нравится больше других. На них изображены развалины необычного здания. Развалины расположены на каком-то высоком холме, к вершине ведут ступени. За холмом синее. Знаю, что небо подкрашено; знаю, что такого холма нет и в помине, и развалин нет, и название придумано; и не название, а фамилия фотографа — а-кро-поль. Поль д' А-Кро. Укроп. Укроп тоже строение. Дьявольски изысканное. Вначале нежный пар, потом темно-зеленый, к середине июня светлее, к сентябрю охрист и гулок. Ствол разрастается во множество листьев, стеблей, сыпятся зерна откуда-то сверху, где подвешаны на балках его пучки; а среди всего прочего: и мята, и тысячелистник серебрится, медовый зверобой — Акрополь, украденная богиня, распиленная на золото и слоновую кость, на камень, сизый в срезе, где каплей изумрудно-желтой ящерица пробегает. Я подметаю в комнате и думаю о сегодня. Вероятнее всего, что я не просто живу, но и хожу на работу, то есть делаю и то, и другое на протяжении определенного отрезка времени для того, чтобы получить за то и другое деньги, которые /и промежуток времени по длине почти такой же /

я могу отдать за то, чтобы утром проснуться, заварить чашку чая, вымыть лицо, втиснуться в автобус.

- Привет, Изольда!

- А-а-а, мы опаздываем, милый! Намного опаздываем. Смотри, чтобы Крижановский тебя не увидел.

- Он меня не видит. Я для него незрим.

- Ну, мой призрак, живо смотай в "Рампу" и спроси, что они готовят на следующий четверг.

- Для этого существует телефон, Изольда!

- Да? Ну, так позвони по нему, циник! Я посмотрю, как это делается...

Господи, а если меня спросят, что я делаю на работе? Я ведь не смогу ответить. Но мысли заняты другим: обугленной картинкой, на которой горячее небо, камень, спутанная сухая трава и ящерица,

историей, которая несмотря на все усилия не начинается /мысли заняты непроисходящей историей/, и уже сказано: однажды утром я сел и быстро-быстро, изменяя почерк до неузнаваемости, исписал страницу. Справа на стене была торопливо-пьяная надпись:

отец мой и в самом деле полковник.

Я ее сделал гораздо раньше, милые дамы, потом.

Слева от меня окно. Об окне мы уже говорили. Накрапывал дождь.

Если окружающие не будут выговариваться, красиво изменив почерк, выводил я на матовом листе, они плохо

кончат. Каждому необходимо избыть неизмеримый груз знаний, которыми он наделен до такой степени, что совершенно безболезненно может прекратить разговаривать. Речь бессильна вместить в себя наше неизмеримое знание и потому самоустраняется. Остается то, что называется языком — влажная бесформенная масса, обожженная мычаньем и стоном, исторгнутыми горлом из живота. Или из души. Из души лучше, легче, вразумительней.

Итак, жужжи, невидимая прялка, пускай течет пряжа шума, сомнений, страданий /а чего бояться?/, восторга и упоения в необескровленные трудом ладони. В весельи и во лжи творить нам полунемые вселенные, пускать по ветру молочным пухом одуванчика. И пусть ложь и праздность станут незыблемыми столпами сегодняшней духовности. Каких еще чудовищ ожидать! — давно разбужен разум..

Нос чешется. Пить придется. Выпить стаканчик и пойти по солнечной стороне улицы. Говорилось так:

— Вот я сдохну, но и там помнить буду этот день. —
Это давно.

— Почему, Александр? — Ох, как давно!

— А потому, что часы эти выпадают редко, часы, когда животом и хребтом чувствуешь, как далеко все от тебя — кости омывает прохлада... элизий, блаженные тени, а я — пустое место с глазами. Не знаю, есть ли у пустого места глаза, но у меня наверняка.

Дождь накрапывает.

По солнечной стороне улицы?

- Я вспомнил сон, приснившийся мне сравнительно давно. Налейте, Михаил Самуэлевич. За мной, таким образом, будет не три стакана, а четыре. Считаем: четыре по тринадцать... Итого? Ну, а снилось мне, что иду я по дороге, посыпанной то ли известью, то ли мелом, то ли толченым стеклом, то ли еще черт знает чем... Между темными холмами иду. И дорога выводит меня в долину, где словно какой лагерь разбит - костры, огни, но очень тихо. Я подхожу к одному такому костру, и люди подвигаются, освобождая мне место, а я опускаюсь на стерню, покрытую росой, и вижу - скорее всего, девушка... медленно опускает в огонь руку и смотрит, как она начинает гореть, темнеть. И я спрашиваю ее "зачем"? В ответ она берет мою руку и подносит к огню. Удивительно... Даже во сне испытал я невероятное изумление, счастье, знаете, какое-то чудесное до слез облегчение - не жег огонь, он не причинил ни малейшей боли, он прорастал сквозь ладонь, змеился по кисти, лизал рукав. Немыслимый огонь... Да... Нет, начнем с того, что нам выпала честь создавать все сначала, с самого начала, со слова. Ну да! Давным-давно уже не существует нашей столь благословенной империи. Лишь дураки продолжают так думать или негодяи, которым необходима другая империя... Осталась лишь горсть мало-значущих подслеповатых княжеств. И этот день, вот этот, сейчас, - одно из них; и здесь мы недосягаемы, как в Тибете... А впрочем, какой разговор! Есть солнечная сторона, есть тeneвая; и, как все люди, наделенные здравым

смыслом, ты чудесным образом сочетаешь и то, и другое. Вот, Михаил Самуэлевич нальет нам еще по полстакана, мы выпьем и пойдем одновременно по солнцу и по тени, уменьшаясь и возвеличиваясь, уходя и в то же время возвращаясь. Более того— постепенно учишься еще большему: хочется пить— пьешь. Не хочется— не пьешь. Но как все перепуталось! Как запутано. И все реже и реже... Невольно приходит на ум откровение одного монаха. Послушайте, Михаил Самуэлевич, вам это будет небезынтересно. Праведник, он на склоне лет записал примерно следующее: "Будда учил людей, что если соприкоснешься с вещью, не прикрепишься к ней близко. Значит, и то, что я теперь люблю вот эту хижину из соломы,— сетует монах,— уже есть грех? Значит, и то, что привержен к уединению— уже преграда на Пути!"

Бедный, бедный монах! Заметьте, как просто и изысканно его рассуждение. И безо всякого злорадства я говорю: поистине он добрался до сути вещей. Наступает время, когда самая горькая нищета может стать и становится бесценным сокровищем; и с неменьшим ожесточением, иступлением, конечно, иным, но все равно таким, приходится его отстаивать, как если бы за спиной— и любовь, и дети, и Бог, и сокровища Махараджи! Что остается на долю совершенномудрого? Погрузиться в пучины греха, народить детей, выиграть в лотерею десять раз кряду? У Михаила Самуэлевича должен найтись ответ.

- Александр, вы пьете как лошадь.

- Ваш ответ меня не удивляет, нисколько. Но вот почему подобные часы выпадают столь редко- я пью, как хожу на службу, теряя вкус, вот почему когда я буду плавиться в безъязыком огне ада, увенчанный бархатными ксильриями, воспоминание об этих часах, возможно, освежит меня. И, Михаил Самуэлевич, Бога ради, еще полстакана шабского, и мы уходим, уходим завтракать.

Теперь и я, пытаюсь не исказить собой извечный порядок, не желая нарушить равновесия ветви, не за^ягрязнить источник (все равно: святостью, грехом),- не желая того, делаю обратное. Вместо того, чтобы слушать, я рассказываю. И было бы что рассказывать! Мало того, замечаю; чтобы верили, мне хочется, уверовали в то, что рассказываю, а в противном случае- зачем огород городить!

Дождь стучит по подоконнику. Со стула сползаю, дыра во лбу... или смотрю в окно- стакан на подоконнике, сумерки на скатерти в коричневую клетку, и я неловко заваливаюсь со стула набок с идеально круглой дырой во лбу. Так хочется! Так и подмывает кончить на этом, и нет историй, и не было, но я смотрю в окно и думаю, что рано или поздно кем-то произнесется слово:

достоверность.

Однако притворимся, что нет необходимости в этом слове. Кто пальцами постучит по столу, кто закурит, кто руки выйдут мыть. Кто стихотворение напишет, кто, умело вода в кармане верным карандашом, обо всем этом напишет.

Пока сомнения. Заставить слушать... ну да, принудить к слушанию, заставить слушать то, что, повинуюсь моей прихоти, приобретает облик некоего повествования. И вот-опустить мосты!— первая ложь и первая награда: во главу угла кладу себя,— в небесный лен мы пеленали,— поудобней устраиваюсь.

Мы легкомысленны, мы доверчивы, мы добры, мы веселы, мы с тишайшим хохотом избегаем описаний— потому что плод воображения они, призрачные лоскутья пресловутой осведомленности. В Африке люди черного цвета, во Франции изобрели сыр, мы не рабы, рабы не мы.

Отсюда следствием— первая и столь короткая ложь— Я.

Я, снедаемый неутолимой жаждой понять для себя и только для себя, вторгаюсь ^{Д/}безумно в то, что называется моей жизнью /...../ ,
...../ ,
ибо легко, гораздо легче и безнаказанней отыскать место себе в привычной цепи чужих действий, нежели осознать себя в своей собственной истории, границ которой и поныне не представляешь. На свой страх и риск поначалу искать в кромешной путанице своей смерти /певучей тягостью в ее сотах собраны все смерти: человечество минус ты/-рождения, в которой, в котором каждая вещь, точно оборотень, таит угрозу.

И не бегство, не позор, не мнимое избавление.

Да, конечно, если не так, то ощущаем себя повелителями, судьями чужих соломин, но обернись и погляди на корявое, в пепельном налете дерево шелковицы, разбросив-

шее изъеденную ~~тень~~ тень над неказистым забором из старческих охристых плит ракушечника; звон в ушах ~~идет~~ почти, вслушайся в спину скошенного пешехода— можно ли понять значение и того и другого? Я могу кричать, срывая голос, отшвыривая его прочь, я могу кричать, покуда разум не оплывет сгарком,— можно ли понять это! Можно ли понять не это, а другое! И если бы только дерево и человек на тротуаре... если бы лишь картинка из книги были единственными признаками бытия! Так что же заставляет меня томиться тенью шелковицы, ее сучьями, обозначенными на известняке старческом, над лицом незнакомого человека,— и ты бежишь, бежишь, в лицо заглядываешь— мелькнувшего за поворотом, и несть остальному числа: ступени, стебли. Потому что, как долго бы ни писал я, ни говорил, стану в лучшем случае упиваться сладостью имен, в худшем— гордыней охваченный, последую за пустым желанием поведать, как мне кажется, истину.

- А ты, дурак, в Бога веруй.

- А ты?

- Если бы не знал, не говорил.

- Ну и как?

- Помогает.

- Мне не надо помощи!

- А потом? Потом?

- И потом не надо!

- Напрасно. Прощай.

- Да, да... Ах да, до свидания, спасибо...

Что может быть глупее?

И это еще полбеды. В том случае, когда жизнь или истина, или еще что-то, неоспоримым кажется, с настойчивостью умалишенного будешь исповедовать только это.

Нет конца крестовым походам. Сколько времени прошло, а все начинку для пирога готовим, крутим, вертим, как цыган солнцем, — ну и пирог будет!

Увлёкся. Делать нечего.

Как ни смехотворно занятие, которым я занимаюсь, мне, слушателю, высшим наслаждением считавшим тишину, искавшим повсюду ее следы, как археолог ищет в толщах почвы, песка и спекшейся глины черепок единственный и утешение в нем черпает — придется превратиться в рассказчика. С какой целью? В детстве у меня был приятель... бинокль... деньги... мама... Приятель достиг цели. Папа достиг цели. Паралич настиг дядю. Идущие на смерть, приветствуют тебя, дядя.

Не знаю, не знаю — идти, кажется так, по солнечной стороне улицы, как сказано кем-то, и слепнуть понемногу, потому что, когда закроет тьмою свет глаза, нет тебе опоры во времени. Оно не нужно.

— Между прочим, Михаил Самуэлевич, приходилось ли вам замечать, как у зеркала, ежели в него уставиться надолго, происходит такая же штука? Строишь, строишь, не отрываясь, а потом одна за другой вещи выпадают. Все расплывается, а эта... как ее, амальгама, знаете, точно радиатор парового отопления, когда морозы, и он разрывается льдом. Чугунные лепестки распускаются, и тишина воз-

вышает свой голос.

- Ах, Саша! Ну, что тебе надо от меня?

- Вина, Михаил Самуэлевич, вина и внимания.

- Ну, так пей вино, а не говори...

- А деньги?

Вот тут-то я спросил себя: ну, что тебе до тишины? зачем она тебе? что она такое?

Как знать... Возможно, если я не отвечу, наступит тишина самая настоящая. Вероятней все-таки, что мне вообще плевать на тишину, на то, что она есть или может быть.

Последние слова, последние крохи, ими сыт. И что замечательно - почти все поступки, действия определяются в известной степени возможностью оправдания.

- Давайте, ребята, давайте! Я закрываю магазин.

- Но, Михаил Самуэлевич!..

- Время открывать магазин, ребята, и время его закрывать.

Подведем итоги.

В октябре месяце, часов около одиннадцати вечера по Васильевскому острову двигалась небольшая компания.

Не говори об этом, не говори, прошу тебя, не напоминай - паводок времени, разлив зеркальный над лугами; покачиваясь, мирный мусор по равнине течет, ветром оплетены сучья - прибежище в будущем, куда относит (привычное сравнение и оттого спокойней), но выдувает сквозняком: изломанная фигурка руки раскинула, ватная, голова

набекрень, вертится над кромкой леса. То бес шепчет в кружевах древесных: загляни туда, где тебя нет еще, но пальцами нащупай, нашарь под кожурой с е й ч а с средь тел пустое место— тебе предназначено,— которое займешь, вращая потом,— привыкни, обживи.

В октябре месяце года, благоприятного всеми созвездиями, поздним вечером по Васильевскому острову двигалась небольшая компания:

Скучно двигалась. Без выкриков, без песнопений. Да и откуда взяться веселью в эту нерадостную пору? Трещали сучья, облетел до стекловидных ветвей маньчжурский орех на Большом проспекте. Из гавани непрерывно дуло (там кончалась земля и мир), летела плоско, шипя, рябая и вода по асфальту, мокрое, с черными подпалинами листья лепились к окнам нижних этажей, клубилась изморось у ртутных фонарей наверху, потоки обжигающей пыли обрушивались вниз, а за гаванью, за заливом ничего, ничего... очертания Левкадской скалы проступали под ногами, и еще дождевая близорукость, смирение зрачка в разительно выпрямленном синтаксисе непогоды.

Это конец моей истории. Так она кончилась. Вот как это выглядело.

Компания направлялась к еще открытому кафе на углу Второй линии. Не обинуясь, можно сказать, что в этот час вино покупают там. Отвратительное петербургское вино, сваренное, смешанное в крошечной сырости подвалов, чудовищный — "виноградный", как свидетельствует надпись,

впечатанная в ядовито-красную этикетку; но я хотел бы знать тот виноград, пощупать, раздавить пальцами ягоду, перетереть ее ускользающую кожицу и прах поднести к губам, на вкус, на цвет... виноградники Тартара,- и вы работали на винограднике в разное время,- ртутный мышинный бег воды по волосам, щекам, за ворот. Галера осени нестройно машет веслами. Таков конец. Наиболее скучный, наиболее никакой, такой вот... избран.

В это время, когда гастрономы торгуют единственно ненужным сыром и прокисшим молоком, здесь можно было приобрести, приложив некоторые усилия и зная, кому заплатить, немного черного вина, горсть гнили- портвейн "виноградный", вино гордое. Оно было подоплекой движения, пока незримой.

Не говори, прошу тебя, не говори много. Скажи просто так:

Внутри, у дверей сонный человек в вылезшей меховой шапке курил, стоял, ходил. Отбрасывал резко руку с папиросой, раскаленной на конце, трещавшей от капель, падавших с ворсинок меха, с ресниц больных трех ламп, тускневших мерно под известковым потолком. Читал вслух и очень,- куда медленней дыма,- руку отбрасывая с пучком травы сырой, исходящей туманом, дымом, смрадом. И не просто читал, но строил предположения, а в руках трава сорная тлела- бурьян на юру, адской горечью бурьян бежит серебряными горбами,- читал и высказывал мнение. Смешные надписи.

Будь смешнее. Что тебе стоит? Смешнее, милее, доступней, обними меня, прижми, и так все просто, а прощеница на стене, осколком зеркала надрезанная, откуда пусто. Я буду ждать в консерватории, то есть не меня, но другой другого будет ждать внизу в консерватории, где хорошо, то есть в консерватории хорошо, как в консервной банке, и я буду ждать тебя в консервной банке, где музыка гремит имперским величием и гнет в дугу косую скрипачей-евреев, а Наум, заняв три рубля, исчез бесследно, исчез, пропал, как корова языком слизала, не те времена теперь, чтобы пропадать бесследно, следовательно, умер Наум, куда ему пропасть, если никуда он не ходит, не ездит- отчизной две кривые улицы ему, отчизна два переломанных позвоночника, два стебля острых водяной травы, два лезвия скрещенных- ни туда, ни сюда голову, и доброе утро, конечно, и, разумеется, чашку кофе, и, безусловно, будьте добры, пирожок с рисом один и стакан... нет, позже ни туда, ни сюда, а почему же умер? Амбражевич умер, а не Наум.

- Дурачьё!- говорит человек, и из пальцев его смятый уголек выпадает.- О Россия, Россия! Он не умер. Он жив. Хотел бы я знать,- размышляет человек вслух,- читал он это или нет.

Его прерывает вздох двери, стук упавшей стоймя двери в облупленную разрисованную стену. Дорогу идиотам, как сказал известный писатель! Паша появился. Возраст его равнялся возрасту пирамид.

Пять лет кряду, каждый день, вечный, как Книга

мертвых, посещал Паша кафе... о, хрупкие лилии спин!-
юные создания, отданные куда-то, где в бормочущих старчес-
ких губах, изжеванных голосах раздираются на волокна пла-
щаницы Катулла, где в желтых прямых коридорах, в рако-
винах трепещущих табачного дыма шепот, шепот господина
Скарданелли, и в сладком ободке умиления: я слово позабыл,
что я хотел сказать, и суффиксы рыщут, дервиши-суффиксы,
и тленными шелками развеваются флексии, и годы, годы, го-
ды, шепот- о, хрупкие спины, бесприютные руки юности в
наперстных кольцах рыжего хохотка, смешка-призрака, пол-
новластного хозяина желтых коридоров, выжелтевших кори-
доров университета; и губ смолистый круг. Пять лет по-
дряд этот дурак лупил их по спинам, неумный, не знающий,
что не так надо, но кто ему расскажет? Пять лет мычал,
разевая рот бархатно (от вечной слюны) алый.

Несчастный, несчастный, восклицание, горемыка, не-
бого, в весеннем саду, в цветах полыхающих ночных, в
росе... Он их приветствовал, с нечеловеческой силой вдавли-
вая ладонь, нет, долонь, нет- клешню с пальцами-дерев-
цами мореными- восторженно и грозно... а потом показывал
всякие неприличные знаки, коробейник безумия, и хохотал
бархатно, заикаясь слюной, в саду ночных роз, спин пред-
утренних, изнеможденных, ждущих, влажных острых глаз.

Что так, то так...

- Унуммуунуунуунуммы-ы-ы,- возвещает Паша, входя
под своды промозглого света.

- Господи,..- осекаясь, выговаривает тот, кто над-
писи читал, ему бы надо обернуться, и он поворачивает

голову.- Болван ты, Паша. Тебе не в кафе ходить, в дурдоме коробочки клеить.

На спине идиота бубновым тузом каторжника мерцал красный осиновый лист.

- Не беспокойся, не волнуйся, Костя,- ясной шепотью вмешивается кто-то из вялого угла, как мука сыплется голос.- Кто-то, а он больше нашего понимает.

- Выныгны,- ревет Паша счастливый.

- Может быть, может быть...- соглашается Костя, шапкой вытирает лицо, сует в карман шапку.- Не спорю. Но я ведь тоже не Бехтерев!

История окончена. Приступим к ее прочтению. Не говори только, кого ты знаешь. Ни в коем случае. Никого ты не знаешь, не знаком ни с кем; да, да... люди незнакомые, похожие, правда, на кого-то из тех, кого ты знал; ну и что? а чем похожи?- словами: тем, как словечко скажет и губу изогнет, тем, как она подастся вперед удрученно, словно он услышать собирается что-то, и мимо... тоже знакомо, не совсем, но понятно. Костя в меховой шапке. Я его знал летом. А меня здесь нет, как бы нет, потому что руками вожу, по голому месту руками, муна в голове болит.

А в дверь снова входят. Компания ввалилась. Такое вот у нас чтение.

Мясистая круглолицая женщина. Воротник. Гениально! Какая прелесть! Она никогда не была в этом месте, кто мог подозревать, что под самым боком и так прелестно, совсем как в романе на тысячу слов, зарифмованном зна-

комыми непредвзудительными словами; почему она раньше не приходила сюда? надо сообщить всем, вот славное местечко, тут сам черт не отыщет— каково стремление к анонимности!— и... да... вот... мило.

К компании относятся: вертлявая девица с локонами. Она тонко улыбнулась Косте, памятуя свое сходство с Идой Рубинштейн. Костя не видел ее, он слышал другое:

— Костя, родное сердце,— светски приспуская по углам рот, где погребены останки зубов, роняет шмара. Все ноги в дырах оплавленных от искр прошлых, она тут совсем чужая, забрела случайно, безнадёга, крутость жуткая, занесло сюда, где трепетные спины, гибкие, как лозы; а она с мешками под глазами и со ртом разваленным— что ей надо! Что?

— Костя, родное сердце, мне одиноко...— и она бы заплакала, и я бы с ней заплакал, если бы не был пустым местом в будущем, а это напоминало будущее.— Дай, сыночек золотой мой, рубль. И вопросительная интонация повисает на трапедии.

— Рубль? Рубль? (реплика Кости)

— Ну, купи выпить, зайчик. Купишь?

— Не понимаю... Не понимаю, почему у меня должен быть рубль? Тебе видно приснилось, душа моя. Вот еще... и ты знаешь мое имя... Откуда?

И ей уже не скрыть, она улыбается вначале кокетливо, но затем просто усмехается вполне равнодушно, глаза ее пустеют, как бассейн, из которого выпустили воду в учебнике арифметики.

- Вот тот к тебе говорил.- Рукой показывает в накурённый угол.

В компанию входят: Ида Рубинштейн, потом круглолицая женщина в блестящем плаще, по профессии живописец, потому-то она и вперяется пристально, быстро, то в одно, то в другое, и болтает, и еще человечек в пегой бородке на том месте, где бородке положено быть, и два молодых человека, сузившие глаза, два молодых человека серафической наружности, два валета из атласной колоды, и еще англичанин приبلудный- по всем признакам тип незаурядного ума, с головой негра,- таких вот два негра на бульваре Профсоюзов торчали над забором косметического ателье, только голова у него больше, круглая, шишковатая, и он умный, видать, тонкий знаток. Как всех много! Курят все, дым, сырость, а там кто?

- Кто же за вином пойдёт?- справляется девушка.

- Проклятье!- шепчет клокоцуще человечек и роняет голову на грудь.

- А вы не знакомы с ним?- женщина в плаще пальцем вытирает тушь на веках.- Разве нет?- Трогает англичанина за локоть. Тот вздрагивает.

- Нет,- говорит.

- О!- восклицает она.- О-о! Ирония...

- Я забыл,- обескураженно признается англичанин.- Я теперь все забыл, как тогда, когда бомбили Лондон, а я был очень... низенький, как правильно, маленький,- он показывает мизинец, и сам с изумлением смотрит на палец.

- Я- старый, и видел,- продолжает он, убирая палец.- Теперь я не могу, как это сказать, слышать воздушных шаров, когда они... бамц, бумц, как это сказать?

- Лопаются,- подсказывает стоящий поблизости Костя.

- Благодарю. Именно. Лопаются над Лондоном. О да, я помню, как это,- сокрушенно заканчивает он.

- Как вас зовут?- спрашивает Костя грудным тайным голосом.

- Бернارد. Бернارد Джеральд Мак Клофкин.

- Бернارد...- ласково пропевает женщина.- Бернارد, знаете, у вас седая голова. Совсем святой Бернارد...

Ого! Знаем мы эти штучки.

- О да!- разводит руками он.- Серая, совсем старая. Но тогда я был вот таким.- И он снова выпрямляет мизинец, поднимает его вверх, и все смотрят на его палец в полной тишине.

"Какая осень... какая ранняя осень",- думает сорокашестилетний Костя,- "почему с каждым годом осень наступает все раньше и раньше? Этому Бернарду наверняка меньше лет, чем мне." И неожиданно для себя Костя поднес к глазам нечистый палец, а потом обратился к знакомым и милым надписям на стене. На стене почтовой станции я увидел стихи Юаня девятого...

Встречаются люди, которым для душевного равновесия необходимо поводить рукой по корешкам книг- "успокаивает", утверждают они. Других успокаивает прикосновение к камню, к другому человеку. В разных утешениях нуждаются люди.

Многих, о которых упоминала стена, он знал.

"Адмирал, прочел он, объявил голодовку. Приветствуем Адмирала. Держись, Адмирал. Не кусок мяса, а принципы торжествуют в наш век"- прочел он. Я выдумываю:

Костя вспомнил, когда это было. Это было ровно год назад, когда молочное сентябрьское солнце заливало проспект, а он двигался размеренно и спокойно. Навстречу шел Адмирал.

- Ба, да это Адмирал! Мой юный товарищ, на тебе лица нет... У тебя рак?

- Я теперь не ем,- слыло ответил Адмирал и посмотрел в сторону моря.- Я должен тщательно следить за режимом выпивки,- сказал после.- Так что у тебя ничего не выйдет, Костя, мне еще не пора.- И он хотел сплунуть, но слюны не оказалось, отчего Адмирал сделался очень унылым.

- Да ты спятил,- сказал Костя.- Определенно рехнулся. Опомнись!

- Нисколько. До полудня можно терпеть, потом можно по стакану, не больше. Иначе мне не выдержать, я не железный.

Солнце грело их лица. Обдавая ветерком, пронеслись черные длинные автомобили, за автомобилями- мотоциклисты в страшных рукавицах, проехала машина, напоминавшая подушку. В этой черной подушке, за голубыми стеклами прямо сидел важный негр с красной лентой над карманом пиджака. Политическая жизнь страны не угасала осенью. Напротив, она наращивала темпы. Руки помощи и взаимопомощи протягивались в разные стороны.

По Невскому раскатывало некое восточное лицо в цирковой чалме. Не выпуская из объятий, — стекла не позволяли видеть кого, — оно проехало туда и обратно; и все же те же мотоциклы, и все те же "всем стоять" из динамиков, и все те же люди рядом с шоферами — внимательные выбритые мужчины, походившие не то на кинорежиссеров, не то на американских сенаторов.

По улице Маклина ездил тогда... ну да, Никсон. Или это было в другое время, в другое лето, нет, в другую осень... Конечно, осень. "Да, осень, — размышлял Костя, — тогда осени были теплыми и долгими. Какое там лето! Сентябрь... Или октябрь? Когда Амбражевича задавило?.." — прицениваюсь я из будущего.

Костя хотел было прицепиться к англичанину и на худой конец подраться, но час стоял поздний, и надо было подумать, куда деваться, — предстояли долгие, чудовищно ненужные времена ночи.

Вкратце все сводится к тому, что они уходят с вином. Из гавани дует. И гонит, гонит ветер не траву, а воду по дороге, возвращает к истокам, вспять обращает; и носится вокруг компании в ореховой скорлупке блаженный Мом, кружит, затягивает безмолвно к белым камням побережья, где серая вода кипит извиристо и ни души — пусты пляжи, осень давно, вечер давно, ночь давно, а что можно сказать о ночи? Спроси этого — не понять какого пола — с ньюфаундлендом на поводке. И он, и пес поскуливающий отойдут в ответ за спасительную стену дождя, мрака, тоски.

Куда они ушли? Не наделен ли я даром предвидения, не скажу. Ушли, скрылись с глаз, унеся с собой, как шар воздушный на нитке, возможную пустоту, где мог бы я быть.

Рудольф /вот мы и попали на его след/ отворит нам двери, впустит в дом, набитый до потолка всевозможными атрибутами искусства и антиквариата; Рудольф, скотина, подымет горе очи, руки на груди уложит, — опыт, опыт — и расскажет им обо мне, токайское отхлебывая из тонкого стакана.

Но в его рассказ мне не пробраться. Будущее пятится.

Оставим их. Быть может, мы еще вернемся сюда и тогда выслушаем рассказ обо мне, полный всяких выдумок, приключений, и тогда выслушаем и запишем его иглами на уголках глаз.

Какой смысл торопить события? Ведь октябрьский вечер, и ветер, и дождь, и компания произойдут через год, а теперь, кажется, я стою на пустынной улочке, рассматриваю бледное детское лицо в проеме двери, гляжу на алебастровых младенцев с головами, разорванными корнями городской поросли, и рассуждаю праздно о днях и ночах, или в комнате сижу, записывая наблюдения, выковыривая, как изюм из пирога, события из вязкой глины реальности, вражду испытывая неодолимую, — сочащуюся из каждой поры этой самой реальности, — ко всему и в первую очередь к себе. Я не хочу быть рассказчиком, я вообще не хочу быть кем-то, но я вынужден быть — а потому не хочу: ограничимся этим.

Я бы и к Амбражевичу не подошел тогда, когда, покидая сонную улочку, выеденную до костей летом, свернул на Фонтанку и увидел его, — пока шел, не его видел, а неподвижную толпу из десятка зевак; определяло их единство действия, как мухи на иглу, насажены были созерцанием чего-то /издалека, пока подходил, молочного/ белевшего; и по мере приближения внезапно заговорил я вслух, словно отдавая себя с каждым шагом, который меня приближал неуклонно /чтобы не забыть/ — Амбражевич, ты исчезаешь с лица земли. Куда ты? как отблеск уходишь ты, осененный толпой и страхом толпы, забывая с непостижимой скоростью прелесть земли.

Однако я был вынужден.

Жена консула растерянно стояла у пивного киоска, она была совсем не красивая. С отвращением я посмотрел на нее, "Она убила моего спутника,- пронеслось в голове,- толкнула под машину."

Я подошел ближе.

- Это мой брат,- сказал я.

Люди расступились, безвольно отшатнулись, словно я был частью того, что находилось на низких носилках, в изголовье которых на корточках сидела полная сердитая медсестра и что-то делала одной рукой под простынями. Почему его не увезли?

Голова Амбражевича упиралась ей в живот. Доктор стоял поодаль. Шофер сидел в машине.

- Амбражевич,- окликнул я его.

- Ну?- сказал я, склоняясь над ним. По простыне бродили, дрожа очертаниями, киноварные архипелаги.

- Амбражевич,- повторил я, повышая голос.

- Откликнись,- сказал я.

- Ну, что это!- тихо произнес я.- Нелепо...

- Амбражевич!- крикнул я.- Ты должен мне деньги!

Что это за фокусы! Ты слышишь?

- Да, слышу... но... деньги... нет... нет,- по губам прочел я ответ, и розовые пузыри оторвались от его губ, взмыли в мелкое небо, унеслись, а там растаяли... денежки, денежки, плакали ваши денежки.

- Прекрасно,- продолжал я.- Я тебе верю.

- Мне скоро вот это...- прочел я ответ по пузырям,

отделившимся новой тяжелой гроздью от его известкового рта.

- Не знаю,- сказал я, пожимая плечами,- Солнце еще высоко, до вечера далеко. Все может быть.

- Быть ничего не может,- сбоку категорично заявил доктор,- Ему пора.

- Сказка...- сказал низким голосом Амбражевич и захрипел.

Его погрузили в прохладную машину и увезли.

Жену консула я нагнал у Аничкова моста. Она не тронулась. Судя по всему, она отложила дела. Когда я притронулся к ее локтю, она даже не обернулась. До того, как подойти к ней, дотронуться, я и не знал, как поступить- не лучше ли отстать, затеряться?

- Теперь во что бы то ни стало вам необходимо уехать в штат Цинциннати,- обратился я к ней, притрагиваясь к локтю,- Просто необходимо.

- Ох... Да, надо...- проговорила она.- А мы вас искали целый день. Если бы не искали, то никогда не вышли бы на эту проклятую Фонтанку. Он сказал, что вы должны у кого-то здесь быть, у знакомых, и мы хотели вас пригласить с собой, а вас не было у знакомых. Вот... И эта машина... Боже мой!- она стала плакать, сначала тихонько всхлипывая, потом громче; потом во весь голос на жарком Невском проспекте зарыдала.- Боже, боже, я понять не могу! Что же это происходит!

- Что происходит?- спросил я.- Для вас одно, для меня другое. Для него, кажется, ничего не происходит. И прекратите плакать. Люди оборачиваются. Перестаньте

плакать и пойдем.

- Куда?- вскинулась она.- Куда идти? О чем вы? Я никуда не пойду.

- Ну, а какой смысл стоять?- сказал я и добавил что-то вроде того, что ничего не изменить, ничего не поделать, ничем не помочь,-

а мой друг махал мне с раскаленных равнин, в челноке из коры, покачиваясь: счастье!- счастье разлуки, странствия, юности, смерти-цветения.

- Да-да, вы правы. Надо идти, не стоять же вечность. И дел много, позвонить маме, тете телеграмму дать, у нее день рождения. Вы не знаете, зачем мне звонить маме? Не знаете?- еще слеза, еще одна.- Какая мама? При чем здесь мама! Скажите мне...

- Успеете всем позвонить, времени у нас много.

Я взял ее под руку, несильно потянул за собой, и мы пошли.

Пока шли, отклоняясь поминутно от обезумевших проезжих, а она всхлипывала, покорная моей руке и шагам, я, стараясь ничего не упустить, возвращал вечер месячной давности. Тот вечер, когда ко мне пришел Амбражевич.

Мы поставили чай, открыли окна. Незадолго до этого я вернулся с работы, но успел искупаться и вымыть голову. Мне было приятно от того, что никто из нас не собирался совать нос в дела друг друга. Впереди маячила какая-то радужная точка, она казалась праздником. Сам праздник- мелочь, пустяк, скука, а предвосхищение его, напротив, чудесно. И жив, вероятно, русский не праздником,

как считают по ошибке, а именно предощущением его, предчувствием: сборами, милой пленительной суматохой, легкой праздностью и упованием неведомо на что, но обязательно прекрасное, непременно всеобщее— на праздник уже сил не хватает; впрочем, порой наступает и праздник, после которого долго еще во сне кричат его участники и устроители. Да и впрямь, что такое в конце концов праздник? Обучены предшествующим опытом...

Чай быстро закипел, в полированной сфере защелкало, горячо заняло. Из окна веяла прохлада. Под окнами темнела туго сплетенная тополияная сеть, где птицы обитали металлическими поющими комками.

Свет был в меру ярок, не мешал. Зрачки запали в разительно спокойную мглу оцепенения— тут берет истоки наша непрерывная беседа, когда лишь одни знаки препинания вспыхивают и указуют путь голосу, а слова— по другим дорогам, как будто есть другие и недругие,— но есть, должны быть: вот акрополь, вот желтый луг, вот царь в медовых лилиях стремится, жужжащая пчела у самого виска. Наклонясь над белым чайником для заварки,— сколько томов исписано, сколько бумаги изведено, а одно только в памяти: либо чай пьют, либо водку; те, кто чай пьют, скоро к водке перейдут: нравственное падение, а пьющие чай еще размахивают руками, еще волнуют голоса,— склонясь над чайником, который достался мне от прежних хозяев комнаты, мы наблюдали, как неспешно, впитывая влагу, разворачиваются в крохотные тугие лопасти чайники, и темнеет вода.

- У тебя что-то случилось?— спросил я.

- Ерунда. Что у меня может случиться! Просто решил навестить тебя. Ничего не случилось, и ты лучше меня это знаешь.

- Ну, не случилось, так не случилось. И никто лучше меня этого не знает.

- Кривляться без конца, как ты, по-моему, скучновато,- сказал он.- Все шуточки. Когда я слушаю твои шуточки, я, признаться, плакать готов.

- Еще чего не хватало! Слезами горю не поможешь.

- Что правда, то правда,- согласился он.

- Все-таки у тебя что-то стряслось. Просто так ты бы ж не пришел.

- Все равно ты ничего не поймешь,- пояснил он.- Я с трудом сам разбираюсь в этом.

- Ты никогда не отличался склонностью к анализу.

- Ну, просто места не найду...- не слушая меня, продолжил он.- Художником быть не просто.

- Просто пришел, просто места не нашел. Вдобавок: художником быть не просто. Не много ли простоты?

- Бывает, иногда я окину взглядом прошлое, этап, сделанное- дух захватывает! Нет, правда: подумаешь-подумаешь, а после места себе не находишь.

- Пожалуй, ты хватил! Насколько мне помнится, место есть у каждого, а ты не можешь его найти, потому как слишком часто окидываешь взглядом прошлое.

Нет, определенно, покойный был человеком светлой и высокой мысли.

- Это я оглядываюсь на прошлое!- воскликнул он.-
Знаешь, мне недавно рассказали сказку, так вот ты...

- Потому ты и не нашел места,- сказал я.

- Почему- потому?- обескураженно спросил он.

- Тебе лучше знать,- уклончиво заметил я.

- Так вот, слушай: я, к твоему сведению, нашел свое место в жизни. Заруби у себя на носу. Слышишь?!- почти выкрикнул он.- Я нашел свое место, потому что верю в кое-что.

- Во что именно, позволь узнать.

- О таких вещах не говорят, но я тебе скажу, потому что пока тебя не поставишь перед фактом...

- Во что?- еще раз спросил я.

- Я верю в Бога, в искусство, верю в то, что красота спасет мир, нац безобразный, тоталитарный, изолгавшийся мир. Вот почему: я верю в...- на секунду запнулся он, потому что у окна пролетела с угольным шорохом птица.- Верю в добро, а не потому, что у каждого есть положенное ему место в жизни и он живет на этом месте, как крот в норе,- слеп, глух, чуждый всему,- с высокими упреком закончил он.

- Да-а-а...- пробормотал я,- да-а-да. Чай стынет.

- А ты!- выбросил он указательный палец.- Ты доволен своей грязной жалкой работенкой. Ты рад ежедневно получать свои тридцать сребренников, потому что...

Я знал, что последует за этим и потому опередил его.

- Циник- это ты,- сказал я, внутренне ликуя от впечатления, которое произвели мои слова, и снял крышку с

чайника.

Коричневый, строгий, с привкусом сурового холста, потянулся кверху запах чая, так в сказке страшной дерево вырастает на глазах и плодами покрывается, — так и я поднял крышку, как семечко бросил в землю, и меня будто подняло в беспомощное парение.

— Полюбуйся на свои картины. Кажется, ты художник?

— Не говори о живописи. Что ты в ней понимаешь. Живопись, так сказать, вне подозрений.

В сущности, он был не настолько глуп и испорчен, как кажется теперь. Ну да, человек как человек... Ущербный, кривоватый, безграмотный, болтун, любил деньги — старая, очень старая история.

Когда я его вытаскивал из скандала в Екатерининском саду — он, окруженный тремя, стоял и что-то доказывал, а потом тип с капризным ртом точно, как в балете, воздушно всадил башмаком ему по подбородку, да так, что у него все ставни разом захлопнулись и он набок повалился, но тут его этот тип поддержал, а второй изо всех сил хлопнул его по затылку сложенным зонтиком — птицы с ближайшей липы от треска взлетели, а он от удара пришел в себя и поднял руку, чтобы закрыться или ударить, и мне стало так мучительно, как будто у меня не одна, а две, три иглы заворочались в сердце, ну, я и закричал ему: подожди, мол, сейчас я подойду, и остальные... — мне в голову не могло придти, что он такой пустозвон. Передо мной — все разошлись — стоял поникший человек, который бормотал о тоске, ужасе, страхе, и только лишь потом, со временем,

не сразу, а постепенно- он, как бы испытывая меня, но все же с большей и большей уверенностью стал распространяться о всей этой чепухе, которой были набиты до отказа головы его друзей, сподвижников, словом, у большого количества людей, именующих себя... дакакая разница, как они себя именовали- художниками, писателями, поэтами!

- О да! Скажи, что меня губит безверие и... как там говорится?- нигилизм? словцо это нынче опять в ходу.

- А ты скажи мне вот что: помнишь, когда мне было совсем плохо, когда у меня копейки не было в кармане, чтоб заплатить за проезд...

- Мог и бесплатно ездить.

- Не прикидывайся дурачком. Ты помнишь? Нет, скажи, помнишь?

Что мне было помнить? То, что он приехал сюда в надежде завоевать этот город, а вслед за городом завоевать Европу, продемонстрировать мощь и силу, и что он невольно сравнивал себя со мной- вот что потешало меня безмерно: его непоколебимая уверенность в том, что мы одинаковы в чем-то; судьбы, дескать, у нас схожи во многом; ну, я, к сожалению, пренебрег заветами и опустился, он же, рыцарь (дурак, дурачина!), продолжал некую мифическую борьбу за идеалы свободы, творчества, счастья, светлого будущего, жажда жизни, муки творчества, а наградой- взгляд голубых глаз, премии, публикация в неведомых журналах, галереи- клубилась его мечта, несла его в неведомые страны, и невдомек было ему, что у нас разные судьбы,- он-то приехал из дремучего леса, он, как ему каза-

лось, вырвался в открытое поле, поле деятельности, куда стремился, начитавшись книжек о разной дребедени, — поле единомыслия, поле дураков, а для меня наоборот: я пересек открытое поле ранних своих лет, где каждый видел меня, где каждому открыт был мой лоб и спина, порастающие ежечасно знобящим мехом страха (еще отец, кривя рот, говорил мне: как представить себе одиночество? представь, что ты раздет, а вокруг одеты), изматывающим долгим бегом пересек это поле, чтобы забраться в чашу, где среди бликов, пятен, теней, тьмы и света, голосов и молчания стать невидимым: вот чем для меня был город, куда я бежал, вот это я помнил.

- Ты помнишь, как меня оставляли ночевать, когда крыши над головой не было? — спросил он.

- Кто тебя оставлял ночевать? На что ты намекаешь?

- Вишь, как заволновался. Ха-ха. Да нет, успокойся, я лучше в подъезде пересплю, на подоконнике, чем у тебя останусь. Найдутся люди. Есть, наконец, друзья, есть женщины, которые видят во мне в первую очередь художника...

- И ты посвящаешь им стихи, — сказал я, разливая остывший чай.

- Да, — с вызовом произнес он. — Статейки в газетах не по моей части. За статейки в газетах, может быть, платят деньги, не спорю...

- Почему же деньги, — возразил я. — А любовь? За статейки платят любовью, за статейки долго, бесконечно долго любят на простынях голландского полотна.

- Не думай, что я нуждаюсь в такой любви.

- Разумеется. Тебя устраивает участие чутких, благородных женщин.

- Устраивает.

- Чего ради мы спорим?- спросил я.- Чай остыл...

- Спорить ты,- заявил он.- Мне спорить нечего.

- А что сказка?

- Какая сказка?

- Ты говорил, что тебе рассказали на днях сказку.-

Я начал терять терпение.

- Я говорил?

- Ты говорил.

- Ну, и что с того? Я могу говорить, что угодно.

Да, мне рассказали сказку.

- Кто?

- А что это меняет?

- Вобщем-то ничего.

- То-то. В тебе ни на столечко нет внутреннего покоя,- сказал он и показал на пальцах, сколько это будет.- У тебя совесть нечиста, вот почему ты беспрерывно выясняешь что-то. Разве не правда?

- Отстань, Амбражевич. Это уже ни в какие ворота не лезет.

- Чего ты добиваешься?- вдруг спросил он.- Драки?

- Не выдумывай,- сказал я.

- То есть как?

- Мы- взрослые люди, и драка ничего не изменит. Ты защищаешь идеалы, я не защищаю. За неявкой противника

поединок отменяется.

- Факт остается фактом,- заявил он и забарабанил пальцами по столу.

- Какой факт?- изумился я.

- А такой, что ты сам мне рассказал эту сказку на днях, а теперь отрицаешь.

- Ты с ума сошел!

- Пока нет.

- Кто в таком случае сошел с ума?

- Тебе лучше знать,- холодно заметил он.

- Постой, если я и рассказывал- все бывает, я верю- о чем была эта сказка?

- Ты в самом деле не помнишь?- спросил он.- Прикидываешься?

- Клянусь тебе, что не помню,- смятение мое увеличивалось.

- Это правда?- опять спросил он.

- Чистейшая,- солгал я.

- Тогда почему ты не даешь мне рассказать эту сказку!- закричал он.- Я понимаю, я знаю, что ты думаешь обо мне. Дурак, психопат! Вот что ты думаешь обо мне. Ты сам прожужжал этой сказкой все уши, а теперь увилливаешь?- на переносице у него выступили крохотные капельки пота.- Сначала: слушай, тебе не хватает... Знаешь, что ты сказал? Ты сказал, что мне или кому-то не хватает вечности и потом рассказал эту сказку. Помнишь?

- Конечно,- солгал я.

Что я мог сказать ему в ответ! Я ничего не сказал. Если посудить трезво, отбросив в сторону симпатии, память о прочитанном, — не тревожит ли его то же, что и меня? По-разному говорят об одном и том же, избегают повторяться, будто повторение лишит сказанное убедительности...

Нелепо. Амбражевич поднялся было из-за стола, однако тотчас сел, и тень его качнулась на стене. Как будто ребенок прочитал незнакомое слово — так птица, угольно шурша, упала в железные тенета тополей, сургучным оттиском запечатлев безветрие. Стены кто-то оклеил желтыми обоями. Раньше здесь жил один студент. Студент жил со студенткой. Они любили друг друга и съехали в один день. От желтого в комнате светлее. И в солнечные дни светлее, когда желтые обои. Тень гостя качнулась к шкафу, гость-личина. Он достал носовой платок, на платке было вышито зеленым шелком. Ом. Шкаф горчицным пятном уходил в потолок, и среди мореных незыблемых берегов горело изумрудно зеркало в прорехах. Дети на ступни нежные... обувь ступни, нежнее слов, льдом обув, располосованный крылатыми ногами залив... ступни, ростки, полевые цветы... о, это зима, зима... — амальгама отслаивалась от старости: кое-где раскаленный тростник, столбики золы, чешуя золота. Подчас я вынимал зеркало из двери шкафа и ногтем срывал несколько стружек — мертвая ртуть шелухой сухой валилась на пол, на пол срывалась, под ноги — магическая сила, и я смеялся, потому что все зависело от моего ногтя (а когда умру, мои ногти пойдут на самый большой корабль) — все

- все образы, слепки, все достояние повторенного зрения шелушилось и осыпалось на пол.

- Ну-ка... ну-ка...- весело обронил Амбражевич. Он не сидел, как мне показалось, а стоял у подоконника.- Ты? Пишешь? Что же ты пишешь?

- Оправдывая себя, придавая значение любому своему слову, жесту размышлению, придаешь, таким образом, значение всем событиям своей жизни...- запинаясь, прочел он, очевидно, с трудом разбирая написанное.- Хм. Оправдывая...- проговорил он значительно.- А что ты хотел этим сказать? Ты представляешь себе, что хочешь сказать? Мне кажется, что для этого дела,- он показал на страницы, разбросанные по подоконнику,- нужно иметь, по меньшей мере, талант.

- Положи на место,- сказал я.

- Одними словами не обойтись,- сказал он.- Искусство требует...

- Я верю тебе, Амбражевич. Ты- великий художник. Но положи на место.

- Не сердись,- сказал он.- Я же твой друг. И, кроме того, кое-что понимаю в этом. Ты спешить меня выпроводить?

- Нет. Я смотрю на часы. Я люблю смотреть на часы.

Я сказал правду. Правдой было и то, что мне никуда не надо было спешить. Уже неделю мне не нужно было спешить. Там, где я зарабатывал деньги, мне предложили сменить род деятельности. Чем-то я не подходил им. Не пью,

не курю, рискованных анекдотов не рассказываю, дамам в присутствии других под юбки не шастаю. Но опять-таки: мне могло только показаться, а на самом деле я по-прежнему числился в учреждении, где люди /не только один я/ в поте лица своего трудились ради куска хлеба и кружки пива. Правдой было то, что я никогда не выбрасывал часов, не выламывал им стрелок. Не раз и не два доводилось мне замечать у некоторых прямо-таки ненависть к этому бессмысленному стрекочущему механизму. Их, видите ли, до глубины души занимает распря со временем- раздражает стук маятника, пощелкивание колесиков, кружение стрелки. Такие вот, как мой приятель, в силу романтической традиции переворачивают их неумоимо циферблатом книзу и воображают, что избавились от неотвратимости. А литература? Сколь бесстрашно ее герои швыряют, топчут, разносят вдребезги часы, начиная наручными и кончая башенными. Пожалуй, нет ни одной пьесы, в которой не было бы глубокомысленных ремарок вроде: "остановились часы", "часы пробили столько-то раз, и все замолчали" или "она посмотрела на него и сказала- сними часы, забудем о времени!", или так: "он в досаде сунул часы в карман, но потом вытащил их и разбил молотком". За репликами и ремарками следуют простые рассуждения авторов о быстротечности, бренности, эфемерности существования, и примерам такого рода нет числа.

Не могу я переворачивать их книзу, не могу выламывать стрелки... Не ужасают меня слова: бренность, неумолимость, которые должны призраками мучить меня в вакууме,

заполненным ходом часов- потому что тонкая корочка слов способна только напоминать о неких грозных явлениях, являясь спасительной преградой, за которой, приложи ухо к словам,- гул неистовкивающей кипящей лавы- и что слова тогда: брэнность? одиночество? часы?

Но, между тем, я тоже не знаю, как быть с часами... И страшными, зуткими кажутся для меня определения времени. Вот говорят: "мы существуем во времени". Говорят другое- бесконечность, вечность... К тому же пришла пора проститься с Амбразевицем. Его не станет. Его, вернее, не стало. Был- и нет. Какая подкупающая простота! На фотографии можно разобрать размытую фигуру в зарослях водянистых цветов. Принято верить, что это тент в полях асфоделей- гораздо приятней, чем, скажем, она же в предместье города дит. Мятется он бесплотно над равнинами Эреба, как стяг мертвый поражения.

С другой стороны, спрашиваю я себя, не так ли страшна и ужасна в своей отдаленности, неизъяснимости царянина на стене, слово, муравей, застывший на коре ольхи, сама ольха или шелковица за ветхой прекрасной изгородью темного кирпича, плещом забранного, еще зеленым;

- дерево, оголенный шиповник, розовато-серые ягоды на узловатых, изломанных сучьях и бурные ломкие листья под ногами тех, кто идет по мокрой, местами все еще зеленой траве, среди стволов, в тишине, где шаг будто вырезан из звука- благороднейшей древесины, и падение капли с горьких окончаний ветвей, и дальше, под вялым осиновым сводом, по пологому спуску идут, едва не касаясь друг

друга плечами, в плащах, потемневших на плечах, — волосы у нее светлее и блестят от моросящего дождя, и он как бы сдерживает свою руку, которая должна лечь на плечо спутницы, — два голубоватых неярких лица во влажном парке, на аллее, ведущей к озеру, в желтом хороводе мраморных изваяний, смутными пятнами обозначившихся в воздухе, пропитанном густым и сладостным ароматом тления.

Наваждением, дурным сном предстает мир, кошмаром, который снился мне в детстве, и снился разве? да нет, приходил, являлся — так бабушке однажды явился ангел глубокой осенью, но она не знала, что это ангел, а мы смеялись, когда из двери на нас выплыло бабушкино огромное лицо, и на лице ее мы прочли ужас, потому что она как раз минуту до этого видела своего ангела — сидевшего на дереве, а это дерево росло в дальнем конце сада /и почему его выбрал ангел — неизвестно, ведь было много деревьев получше/, в самом глухом месте, там не ангелу быть, а, может быть, сослепу бабушка спутала: не ангел сидел на сливе, а... ну, незнакомая большая птица, птица кровавого, бархатно-красного оперенья не бывает, ну, просто огромная птица в красных перьях — так ведь не все перья у ангела, одни крылья из перьев, а он не птица, куда там! — но она твердила деду свое, а нам так больше ничего не сказала, сочла за лучшее молчать, но мы сходили туда и ничего не увидели, только на земле, в траве, нашли очень много косточек от слив, как будто ангел сидел на дереве и ел сливы, а косточки сплевывал... а потом пропал — кошмар мой тоже пропадал, но не бесследно. Потом опять приходил, когда я лежал с открытыми

глазами, с двумя чужими глазами на лице, и ждал, когда начнетсЯ вот это самое: все, что было вокруг, становилось иным, и каждая вещь, каждый голос, каждый облик — мать, сестра, бабушка, отец, дед — как бы скорлупой становились, не исчезали, продолжали быть, но только скорлупой звучащей.

Прозрачной и непроницаемой преградой, за которой всегда одно и то же /потом, гораздо позже — я говорил уже — мне пришло на ум сравнить это с магмой/, то же самое, и это то же самое, оставаясь недвижимым в скорлупе привычных вещей, голосов, движений, неслоь, оставаясь недвижимым, откуда-то, возростая до тошноты, ~~жестокости~~ /можно сказать, до тишины, но тошноты — именно то/, и уже не что-то в скорлупе стула, бабушки, отца, сестры, голосов, а я сам низвергался из тошноты, приближаясь к двум чужим глазам, которые словно оставлены были где-то на утерянном лице, чьем-то лице, со способностью видеть — по-детски непреклонной, стеклянной, жестокой. В них я угадывал тогда, что ни конца, ни начала.

У Елисеевского мы приостановились. Собственно, мы не знали, что делать. Наступила, как говорят китайцы, пора разрыва струн.

Я поднял глаза и посмотрел на голубей, бродивших по карнизам.

Мягкой волной телесного, оранжевого, белого, голубого, с блеском, вкрапленным то тут, то там — затопило глаза, когда отвел их от голубей, и тогда я посмотрел вправо.

Сквозь отражение в витрине мне улыбалось знакомое лицо. Нет, не Амбражевич. Его, к сожалению, не стало сорок с лишним минут назад. Давно. Теперь топтал он в хороводе нежный луг, теперь таился он в тени древесной, чтоб смертного дожидаться, живого, и память обрести, напоить. Ну, луг- понятно... хороводы- меньше, но тоже... зачем память ему?

Знакомый, которого я увидел сквозь стекло на фотографии, по-видимому, чувствовал себя неплохо. И улыбка его была славная... Она говорила что-то очень простое, приятное, нечто вроде того, что вот ему, мол, стыдно немного, на обозрение выставлен, но вместе с тем и хорошо. Поделим улыбку. Ломоть улыбки достанется каждому.

Я показал на витрину и сказал:

- Посмотрите направо:- мех озноба мгновенно одел меня с ног до головы, а потом, как вздох сладостный: испарина- простыл,- Вот мой хороший знакомый. Очень способный актер.- Вот если бы малярия,- подумал я.- Усы, конечно фальшивые; усы выдают на каждый спектакль, а потом, увы, забирают. Без усов он старше и не так нравится. Я его знаю с детства.- Но откуда малярия!- В юности его мечтой было сыграть Сирано де Бержерака. Теперь он бредит Калигулой. По-моему, он заблуждается, по-моему, он просто путает одно с другим, предполагая, что Калигула- это тот же Сирано де Бержерак, но только для взрослых. Дети до шестнадцати лет не допускаются. Вот он... Когда станет Калигулой, с ним не попьешь кофе. Ни кофе, ни пива. Им-

ператоры не пьют ни кофе, ни пива. Естественно... тебе дают усы, потом у тебя их забирают. Меняется психоструктура, - заключил я.

Хвойные муравьи ползали у меня в животе, ласково тронула волосы на затылке бритва дневной звезды- предупреждение, предупреждение, предположение.

Вера стояла безучастно, смотрела мимо.

Крепко пахло смолотым кофе, маринадом и табачным дымом. Распаренные скандинавы шумно вываливали из гастронома с сетками, набитыми водкой. Группу командированных, голосащих сияющими гласными, будто тараном, разнесли два узбека, пробежавшие с огромным бревном скатанного ковра. Кто-то надорванно звал Мусю.

Кофе, чай, узбеки, сельд, тантризм, солдаты, спуснутые меж черных кругов пота под мышками; кофе, коньяк, клейкие нити табачного дыма, девка с голым животом и с тряпичным цветком в волосах- настурция- аэропорт, переводные картинки, сыр, дыры в пейзаже.

Слишком много всего. А больше всего солнца и дыр, угольных глухих дыр, испещрявших ландшафт. Это изматывает.

В виде длинномордого зверька пришло решение уехать. Почему я должен уезжать? Я никого не убивал, ничего предосудительного не сделал. Обыкновенно разгуливал по улицам, даже не придавая особого значения увиденному, точно так же, как шведы, узбеки, солдаты. Правда, у меня нет ни ковра, ни пятен подмышками, ни визы. Не все сразу, не все сразу. Оглянись окрест, сколько солнца повсюду, сколь-

ко совершенных круглых пульсирующих дыр.

Нет, нет... Сию минуту, подумал я, сейчас же, на вокзал, билет; оттуда домой, зубную щетку в сумку и прочь отсюда, прочь! Зверек лег к ногам.

- Деньги у вас найдутся?— спросил я.

- Деньги?... Да, найдутся. Вы думаете мне на такси удобней? Но с машинами сейчас трудно очень... и место такое, что не уехать.

- Такси...— проговорил я и задумался.— Такси?— переспросил я.— Почему такси?

- Почему?— удивилась Вера.— Как почему?

- Ах, да... Вы меня не так поняли,— сказал я.— Понимаете, дело в другом: скажем, мы, то есть вы и я, смогли бы сейчас чего-нибудь выпить. Конечно, если деньги есть. А нам не мешает выпить,— сказал я.— В нашем положении просто необходимо выпить.

- Выпить...— как бы в раздумьи протянула она.

- Ну и хорошо,— поторопился я.— Вы предпочитаете сухое? Как-никак жарница. Значит, пару бутылок сухого.— Но сам я подумал, что если она решит действительно покупать вино, то лучше было бы не начинать.

- Я не успею,— нерешительно сказала она и раскрыла сумку.— Мы сделаем так: я вам дам деньги, а потом вы... Понимаете, мне надо спешить. Я бы и сама с удовольствием выпила, и к тому же: пить— так водку, а не вино. Признаться, мне вина вовсе не хочется, честно!

- С соком,— подхватил я, глотая песок.— Никакого вина, ни в коем случае. Исключительно водка...

Когда-то я пил вино и морщился от одного слова, от одного упоминания о водке.

- Из холодильника,- вдохновенно развивал я тему,- сок в запотевшем стакане, на котором проталинки от пальцев, ветер речной из окна, шторы снежными пузырями, тихая музыка, а потом наступает вечер... Ведь так? Теперь, когда все известно, вы ступайте в отдел, а я позволю одному человеку. Возможно, мы воспользуемся его гостеприимством.

И я объяснил:

- Он должен был уехать, а на летний сезон я обычно перебираюсь к нему. Вот... О чем я хотел сказать? Его наверняка не окажется, и мы пойдём к нему, то есть ко мне, как бы ко мне, благо тут недалеко. Прохладный подвал, антураж, камень, мрамор... он скульптор, труженик. Но летом там удивительно прохладно и легко дышится... окно хорошее, перед окном стена, очень живописная стена, что-то без конца капает откуда-то, и голуби.

- Мне ваш рай кажется слегка сомнительным,- сказала она.

- От недостатка воображения,- уверил я ее.

- Подвал...- поморщилась она,- Мне это что-то напоминает. Не знаю, что... Должно быть, где-то читала.

- Изыщная словесность сгубила Россию,- любимым еловым голосом сказал я.- Ну, скульптор, ну, подвал, ну, читали, ну и что?

☞ Я еще ничего не успела сказать.

- Выходит, ~~кто~~ говорю только я!

- Вам, наверное, нужны две копейки?

"Подожди, подожди,- сказал я себе,- ты еще попляшешь у меня, великая русская читательница!"

- Две копейки?.. да, давайте. Я не собираюсь долго, узнаю- уехал он или нет,- во рту давным-давно пересохло, и слова давались мне с трудом. Песок жевал. Жевать-жевать- не пережевать. Будто железные хлебы, которые в дорогу кто-то по доброте сунул в сумку.

- Подвал...- усмехнулась она.- Забавно. И когда все это кончится!- вздохнула она и шагнула в поток народа, который ее тотчас унес в страшные недра гастронома. А я положил две копейки на выступ стены, вытащил папиросу, размял хорошенько и прикурил у носатого, вконец отощавшего мальчишки.

- Ну?- спросил он меня участливо.- Ты чего? Ломает?

От неожиданности я чуть не поперхнулся дымом. К мальчишке подошла подружка с рогожным мешком на толстом плече. Плечо от солнца покраснело помидором.

- Отышать дурцы?- грустно спросил носатый.

Я покачал головой. Они тоже вежливо качнули головами и тронулись, невозможно серьезные: он носатый и тощий, а она толстенякая и усталая.

Песок от дыма обратился в цемент. Разжевывая его, я не нашел в себе сил сдвинуться с припека. Никому я не намеревался звонить. Я наврал ей по привычке- скульптора не было, подвала тоже, к себе везти не хотелось. Но мне нужно было собраться с мыслями и решить для себя: остаться с Верой, последовать за ней или уехать на вокзал и так-

далее. Но как только я представил себе кошмар, царивший у касс, — общество Веры, любое времяпровождение, все что угодно — начинало казаться мне райскими садами.

Не помешало бы землетрясение, — вскользь подумал я. — Небольшой разрушительной силы, баллов пять максимум. Малярия и землетрясение. Но лучше бы чуму бубонную. Бубонная чума съела бы мою психоструктуру... обглодала бы ее до костей, а кости у меня серебряные, — подумалось, — легкие, пустые, полые и серебряные.

Так пропало желание вообще двигаться с места. Однако предстояло решать: напиваться или не напиваться. Может быть, не дожидаясь новой знакомой, улизнуть, а там — будь что будет... и в голове отчетливо шумит, как будто шмель тычется в стекло, — не хватает еще, чтобы кое-кто крикнул: открой окно, он нас перекусает; а что?.. открою, и мохнатый шмель бросится в сад, над ирисами, мимо погреба, а за липой я его потеряю вовсе из виду. Не могла на меня повлиять так смерть Амбражевича, не могла... совсем несправедливо с его стороны то, что я простудился, когда мне болеть не хочется, и нельзя ни при каких условиях, главное, болеть. А малярия? — подумал я. — А бубонная чума?

Все складывалось в пользу пиршества. Благоприятствовало расположение светил. Одно, впрочем, несвоевременно закатилось. Когда-то о землетрясении говорил Александр. Когда это было? Это было тогда, когда я пил вино.

— Эй? — услышал я знакомый голос и скосил глаза. — Рядом стояли носатый и его подружка. — Тебе нехорошо? — спросила подружка. — Курнешь с нами? — Носатый отвернулся.

- Нет, ребята,- сказал я, набирая воздуха в легкие,- Я- другое поколение. Другие заботы, другие привычки, другие проблемы.

- Понятно,- сказала подружка носатого.- Я это потом обдумаю на досуге. Ну, ладно, поколение, мы пойдем тогда,- и, мазнув ласково рукой меня по носу, повернулась к другу. Я едва не ринулся следом, когда они пошли вдоль витрины, заставленной консервными банками.

Напиваться, безапелляционно решил я. Пропади оно пропадом! И так, мы несомненно катим к ней. Если пить, то пить с комфортом, а консулы наивно щедры в проявлении чувств. И коль скоро я склонил себя к веселью, то веселью быть.

Напьюсь я, напьется она. Может, случится так, что она раньше. И что тогда? Плач на стенах, предчувствие разлуки, прощание Славянки, воспоминания о золотом детстве?

И второе, менее достоверное: смех, беззаботность, непослушный рот, радостный разгул страстей... завершенный истерикой и выбрасыванием в окно, выходящее прямо на кухню соседнего дома, где инвалид костылем меланхолично крошит посуду соседей. Нет, не то, не то... скорее всего, не то. Просто я буду ее утешать, гладить по волосам, держать за безвольную ладонь, тайком вытирая свою время от времени о скатерть, о скатерть, если будет скатерть там, где-то, где мне быть, ждать, белый песок пересыпать, тонкий песок ветра, ноющий в тонких переплетах рам, хлопающий окнами,- и пузырятся холодные шторы, клубятся, гарью бензиновой снизу несет, от которой воздух еще вкусней, ошутимей, реальней, не такой безысходный, как на даче,

когда чувствуешь себя ослом во дворце. Иной раз я по несколько часов воображаю себе некую дачу, куда меня однажды приглашают неожиданно и ласково, чтобы я отвлекся— так и говорят те, кто приглашает,— чтоб побыл наедине с природой, вкусил тишины, откусил сочный ломоть тишины, и мое воображение не подводит меня, оно несет меня по вагонам электрички, оно выносит меня на станцию, а после— к лесу, к даче, и уже ничего я не вижу, а просто сплю, и снится мне всякое, только не дача, не лес, не природа, не тишина, но грохот консервных банок, которые привязаны к моему хвосту, и желтый оскал кривых улиц.

— Послушай, поколение, мне не хочется оставлять тебя здесь. Пойдем с нами. На тебе печать смерти...— Опять они, цирк на колесах! Комедианты, не заучившие ни одной реплики.

— Не моей смерти,— ответил я.

— Как хочешь,— произнесла она, и носатый тоже вымолвил какое-то слово и головой кивнул утвердительно, как бы в знак согласия.

— Вечером мы будем возле замка,— добавила она.— Поедем с нами? Ночью мы уедем,— поясняет она.— Хочешь, поедем с нами!

Носатый вытащил из сумки бамбуковую флейту, искоса взглянул на солнце, приставил ствол, подернутый желтизной ко рту, и выдул протяжный пронзительный звук. Я опустил веки и возвратился к размышлениям.

На чем они прервали меня? Издалека, неслышно ступая,

опасаясь спугнуть что-то, я вставил еще теплое, последнее слово в губы- утешение. И так, я ее буду утешать- остывал воск в воде, утверждались линии, принимали облик некоего существа: доверие- если хватит на то сил, и потом начну раздевать, потому что она не сможет отличить юбку от простыни, а сандалии- от пачки сигарет, в которой одна-единственная задохшаяся сигарета высыпается, и духота мертвой чешуей между нами, и- ищу определение, ищу, чтобы точнее, короче, а каждое уподобление, даже само состояние, о котором сказать хочу, раздваивается, делится на бесчисленные осколки,- почувствовал, как не могу найти обыкновенной мелочи, незначительной детали, без которой все слишком скоро вертится, разворачивается без пауз, а мне воздуха набрать, задержать бы- дыхание с бензиновой гарью и упустить восторг... какой же восторг!- как бы все ни сложилось, я должен хотеть чего-то, что не принесет мне вреда, не будет болью; и потому, как бы навзничь падая, расставив руки в стороны, а за спиной- не листья, сметенные в кучи, а поребрик. И сначала пробовать- засмеют, когда расскажешь, что доля времени, неизъяснимая по продолжительности, лабиринт, танец,- попытаюсь сначала, пускай не торопится, долго она там возится, неужели такая очередь, пока выстоишь, и у отдела очередь, и еще вот что: она там не должна думать обо мне, но думает, потому что очередь и каждое мельчайшее действие, соприкосновение в эти мгновения связаны со мной, и выходит, что она думает обо мне, мое присутствие неотъемлемо. А я думаю про душ. Вот оно что!

Раздевать потом, после. О-о-о-о-о-о-о-о! — кроша цемент в теплых зубах, простонал я, вообразив, как погружаю ноги в ледяную ванну и голову подставляю под шипящую струю, пузыри- серебро костей оживает, и никель туманится моим дыханием, и кафель дождливый светлый... и получилось опять-раздевать. Хочется мне ее раздевать? Отнюдь. Сама может. Хочется принять душ, напиться как следует, лечь пластом, сон разглядывая заветный, много их у нас есть в запасе. И не двигаться, покоряясь сну, как те двое, что спускаются по склону к нетронутому озерцу, и лица их кажутся голубоватыми, хотя лица как лица; но мнятся мне два лица двумя подземными цветками, и в воздухе сыром скрипит оперенье в промокшей листве, в верхах дивных телами буков, а ниже липы стоят, — скрипят неумолчно перья среди ветвей, вылепленных ровным неярким полусветом, отливающим стеклом, но тяжким, как олово: ни единой черты — всему виной затяжные ранние дожди, от них кирпич ограды чернеет, а был когда-то игрушечно-красным, хорошо помнишь, как на немецких картинках... Гутенберг, Мюнстер, Марбург: ровным, красным, без щербинки, и будто краем одним лиловое небо приклеено к горизонту, —

не двигаясь с места, хотел я обнять ее и не договаривать того, что начинало само по себе говориться здесь на припеке, в ожидании; я ждал ее.

Я не желал ей говорить (но кому скажешь, кому?), о чем мне хочется думать. Я пытал свой разум гибелью Амбражевича, мне казалось чрезвычайно подозрительным его внезапное исчезновение. Кому угодно готов я был прозакла-

дывать голову, что не так пришла к нему его сестра-смерть. Что-то уж очень фальшивое скрывалось в случившемся, как в спектакле, пускай сыгранном виртуозно... вот что тяготило: не было статистов, одни главные роли. Не так, не так все было, будто меня собирались обмануть и не обманули, сочли не обязательным. Вот и ложь моя наткнулась на ничто- там, где провидел искажение истины, не оказалось вообще ничего, все ушли. Если захочешь, вечером вместе уйдем. Прежде я спиной опирался на вековечную стену- "подлинность смерти неоспорима,- говорил я себе гордо,- откуда сомнения! несуразные колебания... смерть подлинна и неоспорима,- повторял я надменно,- но тогда каждый вступающий в области смерти, фальшив он или истинен- не нам судить, не нам- неминуемо, независимо от того, кто он, обретает цену, превосходящую его цену тут, на земле, одна-единственная маска на карнавале. Как же так?.. Труп стоит больше живого? О мертвых не говорят или говорят хорошо? Неписанное правило. Прав он, право его. Право мертвого быть абсолютно правым. Это мне не нравится. Я простужен. Право, простыл. Просквозило где-то... Здесь, вероятно, смерть путают со страданием, точно так же, как мой приятель актер путает одного литературного героя с другим. И смерть путают с чем угодно, но никто до сих пор так и не сказал- что такое смерть.

Я перечислю на скорую руку: переход из одного состояния в другое, во-первых. Глуповато? Во-вторых, исчезновение. Исчезновение куда? Хотелось бы знать. Притом исчезать должно что-то... Потом в попытках определения начинается художественная литература, фантазии. Скорее го-

тов поверить тем, кто говорит, что жизнь — не что иное, как отсутствие, разлука, долгие годы разлуки, началом которой служит рождение. Но за что меня разлучили? с кем меня разлучили, с чем?

Мертвые снятся. Мне грустно видеть их во снах. Они что-то умалчивают, не договаривают, они снятся, убеждая меня, что ничего не произошло, что все нормально, как было, как раньше, — а я не верю, но ты поверь, разве трудно поверить, что я перед тобой? — говорит Александр, и кто-то далеко ему вторит: смотри, ты говоришь со мной, ты видишь меня, я навещаю тебя... Что же там с тобой сделали? какой ты там? — вырывается у меня. — На земле я знал тебя, я привык к тебе: неужели и там так же — хм... не стоит говорить об этом, не затрудняй себя, твоему пониманию тоже есть предел, прости меня, но разве мало того, что я здесь, и ты спишь и беседуешь со мной, а, в сущности, и то, что ты спишь, пусть тебя не беспокоит — так легче, днем у тебя времени не найдется...

"Что представляют себе мертвые, когда слышат слово смерть?"

"Что вы себе представляете, когда слышите слово смерть?" — две эти темы мы решили предложить вам для сочинения на выпускных экзаменах. Отныне вы вступаете в новую жизнь, вступаете не пассивными участниками ее, но активными строителями... смерти.

Холодным взором, тщательно и беспристрастно я прослежу неотступно за каждым действием твоим. Промысел ли

Божий меня волнует? Отнюдь. Влечет неизвестная черта, та линия, которую переступает человек, когда он еще человек, но и труп уже, когда человек движется к себе мертвому. Меня интересует не мифология смерти, но ее география. Возвратимся к недалекому прошлому. Вот он— увлеченно размахивает руками; на правой, на безымянном пальце, поблескивает кольцо, и он щурится от низкого, плоско стелющегося, почти живого света, голову поворачивает и рассеянно замечает то, что при желании можем видеть мы,— равны мы в языке и в зрении— гладь канала, подернутая радужной пленкой разложения, вода, в воде кожаное кресло с вылезшей пружиной, погруженное глубоко, облепленное мазутом, лодки, в которых качаются,— сверху маленькими, сметворно цветными кажутся люди, движения которых издали и сверху вполне бессмысленны, доносится хохот, песни, обрывки разговоров— как прост язык наш, сколь просты наши чувства— вещи, а еще проще— зрение!

он взглядом скользит по небу, вдоль палящих нитей июльского солнца, он видит женщину, идущую рядом, тело ее, чудесным образом оснащенное для любви, восторга, видит темные круги пота под мышками— и солдаты тоже оснащены прекрасно для любви,— груди, лежащие свободно, подрагивающие от ходьбы, ухо в веснушках, опутанное ржаной прядью волос, и голос— они ведь говорят о том, о сем, о летающих тарелках, о дороговизне, о планах на завтра (не станем касаться того, что зыблется при этом в его воображении), и, глядя на воду, он замечает очертания домов (приметы неба для него пустое), предлагает перейти

на "ту сторону". "Пива выпить". "Жарко". "Устаешь за день".

Ах, медленней! Я умоляю вас, во сто крат медленней, я прошу вас— мне не заметить, мы приближаемся, несовершенно зрение, в котором мы равны. Я только знаю, предполагаю... но я не знаю, и лишь бы черту увидеть ту, о которой я говорил,— нога сгибается в коленном суставе, сокращаются сухожилия, напрягаются определенные мышцы бедра и голени, морщится ткань под коленом, отрывается от асфальта стопа, обутая в летний туфель со стесанным немного каблучком, и опускается. Ласточки летают высоко, дождя не будет.

Не опускается стопа, едва не опустилась, висит над серым асфальтом в трещинах и известковых наплывах помета голубей, чьи траурные стаи кипят над головами детей, старух, обвисших на скамейках в аквариумах вычурных садов. Здесь вечность. Машина появляется, вот она. Отчетливо за ветровым стеклом виден шофер. Он в белой майке, раскрывает рот, съезжают вправо руки на руле, сладчайшая дуга томления, тело водителя нелепо отпрянуло налево, долгий вдох и выдох, подводящий живот,— бампер вливается в поясницу узким потоком накаленного никеля, вливается в поток иной— в течение плоти; и дробит, пробивает путь к тому, что покуда дремало в теле, к зародышу, еще не разверзшему очей,— к смерти. Восстает сестра во плоти своего брата. И ризами в темных донных спиральных крови ниспадают покровы— о, где душа твоя, Амбражевич! Пуст воздух.

Я не заметил здесь никакой черты.

Я ненавижу мертвых, я ненавижу голубей.

- Как ваш скульптор? - спрашивает Вера.

Вы подошли внезапно. Я не заметил и не услышал шагов, внимая иному голосу, я представлял полузабытый, полужнакомый пейзаж, отрадной прохладной осени, дождями, покоем, в котором пребывали двое мне неизвестных, - спускались к озеру и, оставляя за спиной то ствол извилисто медлительный, бегущий кверху, то груды мокрых валунов в холстах лишайника, минуя дерево за деревом, серьги шиповника, разрушенного сроком, - растения по осени напоминают руины высшей формы жизни... неведомой культуры... растение-дионис, растение-иисус, куст-спящая шива- под шелестом высокой птицы пребывали двое, спускаясь по склону. Птица блуждала между землей и небом, на коре стояли капли.

- Вы себе не представляете, какая очередица! Позвонили? - на этот раз устало спросила она, дотронулась моего запястья. Заметила, видно, татуировку, брови подняла, вглядываясь в мое лицо. Горячей рукой коснулась, но прикосновение в невесомом окончании, когда отнимала руку, не то чтобы испугом-недоумением обозначилось. Я посмотрел на то место, где тронула ее рука, увидел часы и сказал:

- Меня тут настоятельно приглашали с собой две молодые персоны. Я остался вам верен.

- Так уж и верен? улыбнулась она. - Мне или своим слабостям? - при этих словах она подала пакет с бутылкой, от одного вида которой меня почему-то чуть не вытошнило.

- Роза и крест, - сглатывая радужный ком слюны, сказал я. - Я - розенкрейцер. Наш орден могуществен и пользуется огромным влиянием в определенных кругах.

- А ваш друг-скульптор?- спросила она.- Он тоже пользуется влиянием?

- Он масон,- ответил я.- Что возьмешь с масона?

- Но зачем вы курите?- спохватилась она.- На вас страшно смотреть. Сию минуту перестаньте...

- И правда, в такой зной курить невероятно трудно,- изловчась, я попал погасшим окурком в урну. Ох, засвечу я свечу, да против солнышка.

- Милая Вера,- сказал я.- Наши дела обстоят- хуже некуда. Скульптор остался в городе, пребывает в своем подвале, ваяя поэтические головы в два человеческих роста. И потому было бы вовсе неплохо, когда бы вы пригласили меня с собой, куда угодно, к кому угодно. Мне нездоровится... И в самом деле, у вас должны быть подружки, школьные друзья, наперсницы, с которыми вы делите тайные думы, горести, радости! Я знаю, знаю... Должны?

- Горести и радости,- нараспев произнесла она,- я делю со своим женихом.

С некоторым недоумением я взглянул на нее- уж не смеется ли она надо мной. Между тем хотелось сказать что-то про волосы, которые оплели ее ухо, падая спутанно к шее, к ключице, где родничком незаметным билась тонко какая-то жилка,- там покой, думалось мне, где-то там глубоко в ней течет размеренная кровь, омывает ее, и она- как бы берег своей крови, а на берегу покойно, просто, безопасно; вот и волосы ее на берегу порывшей порослью, и глаза, тем-

неющие глубоким солнцем, и вместе с тем ей невыносимо скучно стоять с человеком, который невесть откуда свалился, и зачем с ним стоять?— муторно, нудно, может быть, даже страшно с ним оставаться— хорошо, что люди кругом спуют— не было бы его, осторожно всплакнула бы от нежной жалости, а так— свидетель, очевидец, соучастник рядом стоит, пялится, и потому не вздохнуть легко в смутной печали, а, напрягаясь, поворачиваться от солнца и отвечать, а на сердце точно жаба черная положена... конечно, страшно ей, думал я, смерть для нее— как бы личная обида, и нет ей дела до меня, а мне подавно.

Помолчав нужное время, я сказал, прибегая к незамысловатой уловке:

— Хорошо, что вы напомнили,— у меня, оказывается, вспомнил, на сегодня кое-что намечено. Мелочи, пустяки, но, согласитесь, никто за меня не станет ими заниматься.

— Обидно. Мне показалось, что у вас никаких дел. Просто удивительно!— воскликнула она.— Как все глупо! Вы меня приглашаете, потом отказываетесь под предлогом мифических дел, будто бы я не знаю, что у вас никогда никаких дел не бывало. Ну, перенести—то их возможно? На завтра? Неужели так срочно?

Поправь волосы, приведи в движение руки, пускай они дотянутся, вмешаются в невесомую путаницу летучей сухости— и тогда я пойду с тобой куда угодно, и тогда делай со мной все, что захочешь, я буду только молчать, представлялось мне, не произнесу ни слова.

- Что вы! Чрезвычайной важности... Видите ли, мне необходимо к пяти часам быть на телевидении- хотел бы я знать: где мне нужно быть- В пять заседание комиссии, просмотр и прочее. Сдача моего спектакля... Они не знают, что делать- не выпускать жалко, выпускать рискованно. Одних денег пропасть ушла. А чего Смоктуновский стоит! Вы не подозреваете, чего стоит Смоктуновский!- резким властным движением я поднес часы к самым глазам.- Времени в обрез,- заявил я.- Не взыщите.

- Тогда... до свидания,- проговорила она. И тихо, как на сцене, в сторону- Дурак, дурак... и потом- Плохой день, правда?

-день, день.....,- машинально прибавил я.

- Что вы сказали?

- До свидания. А что, невнятно?

- И вот водку возьмите с собой. Не пить же мне ее в одиночку.

- Ну, вы это оставьте,- сказал я.- Охотники найдутся.

- Все равно возьмите,- повторила она.- Вам хотелось, не мне, вот и берите,- и она протянула мне пакет с водкой. Солнце блеснуло на чешуйке крышки, ударило в глаза, одновременно погружая в желтую муть здания, черные витрины, автобусы. Явления ложной памяти, нашел я, и это уже было когда-то, но тогда было не горлышко, не жестяная фольга- сверкнуло что-то другое, повергая меня в дремоту неизъяснимой свободы.

- Сатори,- с трудом выговорил я.- Погодите,- и без колебаний продолжил. - Так не годится. Мы сделаем следующее: коль скоро у меня случилось просветление, то ни о каких делах и речи быть не может. Поищите у себя еще две копейки. К сожалению, я вышел безо всяких денег. Сейчас мы все разузнаем,- заметил я, поджидая, покамест она выудит из кошелька монетку.- Я позвоню на телевидение- далось мне это телевидение- и на худой конец ~~ж~~ что-нибудь придумаю, сочиню. Ну, скажу, друг, дескать, попал под машину. Я осекся от нелепости сказанного, а ее рука судорожно заметалась в сумке, где еще и кошелек должен был быть.- Простите, я не хотел. Вырвалось случайно. Это от жары у меня. Не плачьте, прошу вас, ну, не надо же так!- Погладить ее я не решился, а только провел рукой недалеко от ее плеча и тотчас опустил ладонь, к штанине прижал.- Ну? Какой вздор, нелепость! Хотите, я скажу им, что у меня свадьба? Хотите за меня замуж? Я могу. Правда, могу, я уже был мужем, я знаю, как это делается, а?.. Чем я хуже посла! Не плачьте, в конце концов! Что же это такое...- говорил я, думая при этом, что единственное мое везение сегодня заключается в том, что у нее не накрашены глаза.

Не прекращая всхлипывать, Вера вытащила двухкопеечную монету и протянула мне. Подняв лицо, она беспомощно улыбнулась и поправила волосы. Телефон был рядом, и я понял, что мне на самом деле предстоит кому-то звонить, чтобы не прослыть лгуном и злым обманщиком. И я набрал номер и, теряя от духоты способность соображать, спросил:

- Ты ли это?

Хотя я спросил не так, а по-другому:

- Ты? Это ты? Говори громче. Ничего не слышу... ты, спрашиваю?... да, это я... узнаешь? кто же еще. В трубке пело, трещало, шипело и невнятно, едва слышно говорило. Нет... Нет, говорю, не уезжаю. С чего ты взял... Ты не уезжаешь? Говорю, ты не уезжаешь?! Кто не уезжает... говори ясней.

Я прекрасно, во всех подробностях представлял его лицо, испещренное каплями пота, а сегодня пот, вероятно, заливал его, и он, утирая краем линялой футболки, диктовал страстно полоумной машинистке свои рассуждения по поводу последних событий в театральной жизни, которые потрясали его уже на протяжении многих лет работы рецензентом.

- Ты обливаешься потом? - строго спросил я голосом цвета маренго. - Что-что? Прекрати ругаться... - до меня неожиданно доплыл целый обрывок:

- В последнем акте с наибольшей силой воплотились... нет, воплотилась его концепция творческого реализма, социалистического реализма, позволяющая предполагать, что судьбы героев спектакля, несмотря на... Так и пишите через запятую. Это не тебе, - сквозь пенное пение: - Ты не смог бы перезвонить?

- Ближе трубку держи, ничего не слышно! - заорал я. - Что воплотилось?... не мне... холодным потом? Был на просмотре? Не понимаю... кто? Я спрашиваю: кто новый Бергман! Не ты? Рад за тебя... да... да... да... бездна современной психики - аналитичность, понимаю... Ближе трубку.

В этом есть своя положительная сторона, безусловно... Нет, спасибо. Благодарю... нет двух копеек. Говорю, ничего не нужно. Нет, ничего не нужно, кретин. Да, решил услышать твой голос. Привет.

Когда я вернулся к Вере, у меня создалось впечатление, будто я никуда не уходил и мне предстоит опять с ней разговаривать, просить две копейки, набирать номер, смертельный номер в духоте— надо было протереть глаза: она рылась в сумке, трясла кошелек, щелкала замком.

— Вот такие дела,— сообщил я.— Концепция творческого реализма возобладала в последнем акте с необычайной силой. Я свободен. С этой минуты я становлюсь вашим бессменным спутником. Мы будем долго жить и умрем в один день.

— Неужели вы не можете помолчать? Хотя бы минуту помолчать! Неужто это вам в тягость? Сделайте одолжение...

Если на то пошло, мне совершенно перехотелось разговаривать. Пускай ведет меня, куда вздумается, пускай ставит под душ, снимает одежды, укладывает в постель, рассказывает о первой любви, о первых поцелуях, о школе, мечтах— она мечтала стать танцовщицей, пианисткой, капитаном дальнего плавания— и о первом мужчине, и о том, каким подлецом он оказался, и о первой женщине, о ее пронзительности и уме,— а мне не понять уже, что к чему? Очертания даже пустячной, и не мысли, но и не слов, а чего-то, что как бы находится между ними, очертания этого, без чего не понять и чему не подобрать еще имени, расплывались... очертания сомнения?— оно, по-видимому, находится между мыслью и словом, его нужно преодолевать всякий раз— не

сдерживали его, и оно росло, непомерно росло, пугающее унылое дерево, не могущее вынести веса собственных сучьев: уже прогнили, неразвитые, невыпрямленные, прогнили и рушатся с коротким треском, и опять оседает пасмурный небосвод, отчего не уяснить: близко ли небо— рукой ли достать можно— или высоко, как и надлежит быть небу. Думаю— не думаю, иду— не иду, плачу— не плачу, смеюсь— не смеюсь... Уходим, уходим.

Машем руками.

А за косогором, если некоторое время идти прямо, а потом сразу же спуститься к реке, мельница стоит. Не ветряк. Водяная мельница. Где ты был?

Любуясь, сбоку устремив взгляд, — ему не хотелось говорить. В том-то и все дело, что он — это я, постоянно я, и только очень редко он. Обычно, когда приносят телеграммы, повестки, распоряжения — он. Не я. Во всех остальных случаях — я, вплоть до немоты корявой, до мычания; и все равно я. Мне не хотелось говорить. Рискуя потерять свою знакомую, с которой мы шли бок о бок и шли куда-то, куда-меня не особенно интересовало, и с которой, говоря откровенно, меня связывало лишь одно, весьма небольшое — утрен-няя встреча, когда, помнишь? они весело улизнули от меня,

свежие, исполненные надежд и благодати заурядного бессмертия, каждодневного бессмертия, не позволяющего смерти представлять ни в каких обличьях, помнишь? радостно словоохотливые, от чего у меня испортилось настроение; надо думать, что от обыкновенной зависти: ничто человеческое мне не чуждо, а когда беспечно теряют тебя, рассеянно теряют и теряют, как ничего не стоящую безделушку-соринка в глазу докучливая,- почему бы и не позавидовать легкости, с которой это делается и которая не благоприобретена, как, скажем, шкаф или холодильник, или удобная книга, но корни которой уходят в поколения... род за родом, срок за сроком, исподволь создается наука неукоснительно избегать любого труда, будь то труд счастья или печали; потом ни того, ни другого- о, чудо! какой гибкой, совершенной становится речь, как ясна память, роняющая слова беструдно, дарующая на краткий миг- однако и время по-иному- всею полнотою, какую только может измыслить сознание- но где оно?- потому что будто нет пространства, той бездны между т у т и т а м, чудовищной глубины, и самая отдаленная точка, невыразимо далекая вещь тотчас водворяется по капризу подле понятного- и в речи равны мы: язык утаивает, сокращает подлинное и неподлинное, и потому равны; кому охота копаться во всем этом, если спустя секунду не нужно это, а нужно другое; и в речи еще живы, покуда живы, хочется думать, что так, а замолкая, рискуем потерять друг друга, как я свою новую знакомую, с которой ничто не связывает: утренняя встреча, еще что-то,

чему я не был свидетелем... помнишь? нет, был все же, успеш- стоит лишь замолчать, а я решил не говорить, так как не знал о чем. О, можно было бы о чем угодно- магия произнесения безотказно вызывает из небытия, из ничего, нас самих, и мы встречаемся- где, когда войдет в меня чарующая легкость безжалостности!- и мы встречаемся, как щепочки в талой воде весеннего ручья, прибываясь друг к другу, и несет их, несет, кружа порой на месте, прибывая к берегу, отрывая от него. Отчетливо и ясно, будто ни о чем другом не помнил, подумал я, что хочу увидеть китайца во сне. Больше года минуло с той поры, как видел я его в последний раз, и он был точно таким, как в тот августовский день... зачем ты говоришь: август, если кончился август, а стоял сентябрь; светлый, сухой месяц, пронизанный сиянием серебром паутины- парча блеклая- и паутина цеплялась за акации, прилипала к лицам, рождая в спине холодок, таилась в женских волосах, обвисала густыми прядями на бурых шкурах чертополоха,- да, да, сентябрь стоял- на темно-лиловой кофте китайца лежала паутина, словно улитка ползла, и след ее еще мерцал, не тускнел; и стрекотал, к плечу доверчиво прижавшись, кто-то рисовыми крыльями блаженной белизны, будто книга сушилась на крыше под солнцем, жужжа страницами, волной носящая листы то вправо, то влево, и китаец, многозначительно подняв указательный палец, протягивал другой рукой мне книгу... и что-то говорилось о рыбе Гунь, которая обращается птицей Пэн, вездьмащейся над океаном столь высоко, что представляется облачком лазури на лазурном небе,- и облачком лазури кажет-

ся ей внизу земля. Внизу? Вверху? Мы позволим себе выяс-
нить... внизу, вверху... Сентябрь, мой друг, сентябрь.

Дети помешали. Из пролома в заборе высыпали дети, и
крик свирепый с трещинками визга:

- Ходя косою! Ходя пришел, ходя босою, косою.

Глиняным ноздреватым грохотом в рыжих оползнях лета
разъяренная телега продвигалась вдоль. И он— это я, я, я,
я!— проснулся, нет, очнулся, отметив с удивлением, что
сомнамбулой тянулся к перекрестку, где в колючем венке
скачущего хоровода кто-то стоял, замкнутый глубоко в ску-
лы; два ореха по веку в ладонях носить, блеск с терпением
неземным выявляя из алмазной крепости. И благодари Бога:

- Твое счастье, что ты не с ними. Но коль скоро за-
стану тебя за подобным...— королевское мановение руки, по-
мавание в сторону охристых пыльных клубов, и вот пурпур
струится по согбенным плечам: отец, какое царство мне ос-
тавлено, что наследую?— рука обводит разбитую дорогу, ака-
ции, райскую яблоню; и труба играет, слепой с мешком за
плечами, последний трубач покидает стены, и его тоже об-
водит рука с волосами до локтя курчавыми, седыми, калеными.
Итак, акация, бестенное сияние— потому безвольно кло-
нился; металлический шар перед глазами потом, когда в шут-
ку, на пари, товарищ загибнотизирует по прошествии мно-
гих лет, от скуки, от дождя: лампа выпукло сверкнет, и
покрывало горячее ринется сверху.

-... спущу шкуру,— слышу я голос, о котором не могу
думать без любви и страха, и, вдобавок, непонимание, кру-
жащее голову, сладчайшее недоразумение за голосом— отра-

жением моего взгляда— ах, щенок, щенок, это же сентябрь, смотри, взглядывайся, учись...

— Ступай чистить смородину, помоги Соне. Они с матерью ~~замаялись~~ замаялись.

— Сами надумали.

— Не пререкайся. Сказано— ступай!

Каждое дитя в этом мире— царское дитя, и каждому из них предстоит сума, посох и плач дорожный, вечерний— нет дома, обуглены стропила... ах, чадо мое, дружок мой давний, щенок— это же сентябрь! Постигай пути времен года.

Как раз незадолго до этого бабушке виденье было в саду. И дед, вслед ей, грузной, отяжелевшей всей землей ночной и полуденной, толстой, с могущественным носом, вслед с крыльца— цепко глазами провожая, поджав под себя ногу в полссатом шерстяном носке, выпуская дым, шепотом стальным под отвесными, изрытыми увяданием коврами дикого винограда— ~~клубящийся~~ глубокий пурпур, чернь густая, и не чернь, а синь такая, как темень,— в сторону единым выдохом и дым, и шепот: "а-а-а-а-а"— не взмывала гласная, набрякшая шорохом, шепотом полустертой ненависти,— "продурь бабья... никому покоя", но отец— как будто ничего определенного не произошло, словно не замечал, как дед, единственный его собеседник, рвал на себе ворот любимой застиранной сорочки худым прокуренным пальцем, на котором ноготь древним напльвом янтарным, копытом расщепленным; отец— нет, не выказывал признаков неудовольствия, внимателен был к бабушке: и вечером, и потом как ни в чем ни бы-

бывало, предупреждая любое ее желание (а мы думали, навело маме), казалось, нарочно- ну, что за удовольствие доводить мать до неистовства галантным равнодушием! — раньше мимо всего проходил, а теперь с участием, со смирением вслушивался в бабушкин торопливый говор, точно каждодневно слушал такое и привык снисходить; к детям так, к нам чужие так, с жалостным вниманием почему-то так относились — и яростно взметалось посудное полотенце над столом, грохотал стул отодвигаемый или в сердцах что-то швыряла, когда, не выдерживая, ощущая, что над ней посмеиваются..., чувствовала, что масла в огонь подливают, но ничего не в силах была поделать с собой — уходила, сдерживая себя, чтобы не закричать от бессилия, уходила в спальню, запирая за собой дверь, подобно тому, как в воду черную от прибрежных деревьев входят слепящим днем, — ставни всегда в спальне от солнца притворены, — не знаю, плакала там она или нет, или просто лежала, прислушиваясь к голосам. Уж очень ее раздражал бабушкин ангел, потому что, как повторяла она неустанно, пользуясь любым случаем, — бабушкино упрямство перешло все границы, и упрямство и капризность; все старые люди капризны, но надо знать предел, не одна живет, хотя на самом деле боялась, что-то ее страшило в этом всем, угрозу чуяла и не хотела... только мы не догадывались, куда там! Но отец знал, потому-то подсмеивался, учиня фарс одному ему понятный, — смерть вошла в дом, впрочем, и раньше бывала она, но чужой была, а теперь... отец должен был знать, и дед знал, закидывая голову в очках, натягивая кожу на кадыке, уверен он был, что если не к смерти

смута в доме, то к переменам дурным, однако ни слова явственно не говорил, лишь шепотом витым, подобным пружине накрученной стальной в часах, для себя, ни для кого больше.

- А это молчание?— пальцы с хрустом сцеплялись на груди.— За какие грехи!— кричала мать из комнат. Или стремительно входя со двора, куда мгновением раньше выбегала с полным решето кукурузы для кур, но так и не опорожнив его— колесо старого золота, в ободе гулком темного воскового дерева, то самое, что принесла однажды бабушка, уехавшая перед тем хоронить в Шущинцы свою тетку Марию, вожую, завещавшую ей решето, которое вначале в сундуке хранилось среди засушенных цветов липы, чистотела, зверобоя вместе с коробкой жестяной, где дребезжали зубы прадеда, прабабушки, может быть, друзей, сверстников и скрюченная оправа от чьих-то очков, и стеклярус, но больше всего цветов, зерен, стеблей той, вербы свяченой— ее в воробьиные ночи вешали над порогом, от грозы, молнию отводили, и там же решето, которое не следовало туда класть, потому что нечистое оно было— не могла никак умереть тетка Мария, покуда не передала бабушке; брать никто не хотел, чуть ли ~~ли~~ руки за спину не прятали, шарахаясь, а теперь кур кормили, муку просевали, да-да, дела...

- Ну, что вы могли видеть!— не унималась она, обращаясь к бабушке, а мы, голос ее пронзительный слышав со двора, застывали, кто где был.— Это вы-то могли видеть? Не смешите меня. Смех один!

- Какие дал Господь глаза, такими и смотрю,- резко отвечала бабушка, ножом мелькая сточенным, выеденным дугой, плача.

- Матерь Божия! Да этого же конем не объехать!- восклицала мама хватая с табурета сито, бросаясь к дверям, просыпая на пол желтые зубы кукурузы.

- Картошку чистить не спрашивает, какие у меня глаза,- продолжала бабушка, мелькая ножом, роняя спирали цвета слоновой кости под ноги, мимо ведра, и там они, влажно оплетали ее страшные корявые щиколотки. Не видели ее слез, не слышали...

Почему все нервничали? Не знаешь! Из-за чего!

Недоумевали мы, изумлялись, и весело нам было- владения жизни, угодия нашего полузабытого существования неизмеримо расширялись. Пьянели мы, невидимо и бесшумно, а, главное, безнаказанно, проникая в области, бывшие ранее для нас недоступными, строго-настрого заказанными... и в первую очередь к чулану неодолимо тянуло, где из вороха старого тряпья торчал приклад дедовского ружья, пахнувший церковным запустением и усталым временем (никогда не пойдет на охоту; ни диких селезней, ни черноголовых диких уток с изумрудным отливом на шее, ни зайца по первой пороше не принесет- леса отдалялись от города, а дед отдалялся от той жизни, в которую входили беспечные пиры на дворе до глубокой ночи, друзья, засученные рукава на жилистых перепачканных в крови руках)- по обрывкам разговоров, по слухам невнятным, составлявшим неотъемлемую часть домашней

жизни, по обмолвкам, а то и по обыкновенным рассказам (почему вдруг отменялись принятые ранее предосторожности), по шепоту, по тайным чертам усмешек, молчания, которое читали в совершенстве, знали, что из ружья, а ныне оно покоилось у стены в коме ветоши и хлама, и лишь приклад торчал, — он застрелил родного брата. В другом доме... Как знать! Возможно, в нашем. Мы думали — в нашем; мы воображали, что все произошло в нашем доме — вон крыльцо, вон дверь, вон стол, а у окна яблоня — когда каким-нибудь вечером, затаившись за креслом, слушали; и вновь разговор возвращался к деду и к тому времени, неизбежно приходил к своим истокам, а Соня, будучи постарше, держала меня за руку и сжимала ее очень больно, а я не шевелился, чувствуя, словно животное, почти плотью — могучую защиту неподвижности. Странное это ощущение — восторг от того, что незрим, упование от того, что есть ты и нет тебя, для себя есть зрением и слухом, в себе, но не для других.

И дальше — вот он убил брата своего и сумел выпутаться, хотя, видно, это входило в его планы: выпутаться... Ну, и что с того? Видели мы изо дня в день доверху заложное кирпичом окно в сарае, куда он уходил каждую весну на все лето, до первых холодов, чураясь всех, кроме отца, — видели мы стену, возводимую с неукротимым упрямством, — бесплодную, ненужную, не ограждавшую ничего, не укрывавшую никого, поистине корабль в пустыне, разрушение, возводимое с упорством обреченного, — даже за наказание человек должен бороться, говорил иногда отец, думая что-то свое.

Возвращался ли его угрюмый дух к событиям тех дней? Тело, невесомый вестник, было свободно... Возвращался ли его угрюмый дух к событиям в другом доме (а до того дома-еще один дом, вереница их необозрима), происшедшим задолго до нас майским утром,- вот он сидит на крыльце, вот он уходит по дорожке, вымощенной кирпичом,- обязательно крыльцо представлялось нашим, теперешним, на котором по утрам ~~ки~~ отец, навесив кусок зеркала на старые лозы, яростно и мерно брил голову; крыльцо с тремя ступеньками серого гранита- справа решетка для ног, залепленная окаменевшей грязью, и яблони ветви опускают ниже, клонятся долу, роняя легкий цвет наземь, осыпая розовую кипень, холодную, как воздух на рассвете, и серебряное кольцо на отцовском пальце мягко вторит отблеску бритвы.

- Первым белый налив расцвел,- обнаруживаю бабушкин голос.- Сливы уже посыпались, вишни принялись цвести.- Рассказывает, но и не рассказывает, повторяет, скорее, тысячу раз рассказанное, всем известное- на все времена годится весеннее цветение, память о нем, и льнет душа к любому упоминанию о древесной жизни и о воде, в поисках робких бессмертия просит у ней защиты, пристанища: весна, лето, осень... много раз, год за годом всем известное рассказывает, не отступаясь, сродни птице, описывающей круги над гнездом, где птенцы ее удивлены некой тенью- не ведом еще им испуг,- а она знает цену ей, знает, что означает эта тень, неожиданно застывшая в прыжке; так и бабушка ведет нас ближе и ближе к тому дню, отчего все, за исключением отца- он спиной, безусловно, сидит, книга на коленях рас-

крыта, скошенный желтый край света на сложенных руках: спит- не спит...- и сама бабушка, и мать, притихшая с картами в руках, подобно тому, как падает к вечеру ветер, замирает, едва шевеля листву на верхушках акаций, и мы с Соней - приходим в сладостное жуткое оцепенение, в страстно-безмолвное переживание того, что минуло давным-давно и уже нереально, szybko, как бы в дремоте являясь между тем несомненным непреложным свидетельством нашей жизни, - какая она? - возникая вновь и вновь в затверженной речи, в повествовании, с которым сопряжен нерасторжимо образ ~~деда~~ деда, - видим и его в узкой жесткой койке, под шерстяным выбитым одеялом, за заложенным окном в глубокой тьме, лежащего безмолвно в клубе табачного дыма: спит, не спит...

-... Он уже потом, когда из...- пресекается голос. Чтобы не слышали, чтобы не знали- оттого обращается она в сухое дерево- если мы здесь где-то рядом; потому лишь один шум сухих губ обескровленный доносится, и в нем читаем, как в страницах, выцветших от огня.- Когда из тюрьмы пришел, признался, что думал об этом всю зиму; когда мимо дома его ходил, не зная толком, зачем ходит. Но там, сказал он, мне стало понятно, что делать, надоумил Господь его, значит...

А что ж я не помню того, как он пришел и сказал, что "убью его"? Шапки не снял. "Я долго ждал, - сказал он, - Но выходит, что, кроме меня, этого никто не сделает, Ганя. А в Страшный суд я не верю".

- Замолчи, - оборвала я его. А он: "Ганя, не зли меня, Христа за ради, хоть теперь не зли. Ты меня знаешь!" -

"Да, я тебя знаю,- ответила,- я тебя ой как хорошо знаю"- И легкий нежный переполох просыпается в ее голосе.- Кажется, дети? Не спят...

- Вы еще здесь?- спрашивает мать, вглядываясь утомленно в глубокую тень, где мы замерли.- В постели, живо!

И вот уже из комнаты другой, из-под двери, где не доходит до пола,- так приезжала мама из стран далеких, краев, наполненных чужим, откуда черпали и мы все, что придется, для будущего,- пыльной полосой свет оседает, а за его чертой, подобно в круге чистом соли вьются голоса то жалобами, то твердым нареканием. Вот убил брата брат- потом только, как комментарий, составленный гораздо позже; при чтении наткнешься: "будешь возделывать землю, не станет более давать силы для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем". Не вырваться из круга!- много лет спустя воскликнешь.

Убил-таки.

Больше всего волновало, томило, что не пески арабийские, не стада овец, не солнце палящее над Иерихоном, а вот- белый налив зацвел, вишни занимались утренним розоватым огнем под перистыми облаками, повидавшими и степи крымские, и Черное море, под облаками неторопливыми, высокими... и как он смог! Как осмелился обнаружить родство свое с землей, с древними пустынями, мертвыми колодцами, с праотцами, схожими со страшными изваяниями на путях могучей памяти. Где взял силы убить? Мятаж? Сомневаюсь. Считаю- следование неким законам, верность им.

Кого- тоже знали, твердо усвоили- брата из-за бабушки, то есть не из-за нее, конечно, а за того призрачного, бестелесного ее брата- как все непоправимо замешано, скручено- на земле бывшего скрипачом, учителем рисования, нежным меланхоличным шалопаем. Мог бы преподавать и другие науки, но получилось, что пение да рисование выпали на его долю. Мало, скажут, для того времени. Да нет, хватало. Хватило, словом...

Откуда они? Спроси меня, откуда? Из Белоруссии. Так уж дела пошли, что здесь появились. А родители их кто? Где были? О, не спрашивай... далеко! Где-то там, а где- ~~как~~ пальцами прицелкнуть липко- есть ли разница в том, где были они. А кто? Не знаю... Эти вот- люди взрослые, рассудительные; сразу видно, что и работать могут, не зазорна им работа, и постоять за себя в случае чего постоят. Мужчина он или нет, в конце концов! Ах, да какой мужчина, оставьте!.. ветерок в пестром желтом галстучке, перекасти-поле, себе на уме. Ну, и поселились. Только и всего. Бог в помощь. Бабушка замуж в скором времени вышла; оба на фотографии красивы, горбоносы, легкие телесно- молодость как- никак, а Бронек, ее брат, устроился детей в новую школу учить пению и перспективе: это значит, когда удаляемся- меньше и меньше становимся для того, кто вслед смотрит, но другое взамен вырастает, больше становится в свою очередь, вразумительней, потому что такой закон... В школе голова мраморная стояла в шкафу застекленном- ученики лукавые, бродяжки, с кладбища католического стянули; заброшенное кладбище было, а хоть бы и не заброшенное? Какое нам дело

до мертвых? Лежат спокойненько, не тревожат, ну, и хорошо. Непонятная, между прочим, была голова, неизвестно кому принадлежала: херувиму ли, отроку, без вести пропавшему, отроковице ли, в кисейных платьях ходившей, косточкой вишню подавившейся, — о, матушка! с лоном, девичеством иссушенным, ушла я от тебя, пришли мне, пожалуйста, мое любимое платье и красных вишен кулек, — а, может быть, от богини античной осталась? Голову дружно рисовали, подпирая ее камешками для устойчивости, краем уха слушая негромкий свист учителя: на столе, на подоконнике сидел, то тут, то там, ногами болтал, пятый прелюд насвистывал. Свет ты мой зеленый! Мир окраинный! Повсюду красота — от нее эта боль щемящая, от нее — всегда весенняя, неизбежная!

Вот, а Бронек в обиде на бабушку был, выясняется. Так? Или не так? Отчасти так; конечно, скрывал, не подавал вида, но что-то не ладилось между ними, а дед невозмутим был, когда не в командировках, а дома находился между рейсами, и так же трудно было угадать его мысли тогда, как и теперь. Что думал он, допустим, лежа в сарае, слушая, как осыпается цемент по стенам? Песок разве? Не осы ли в гнездах шуршат? Или то Эринии в ~~их~~ водосточных трубах гудят?

Обедали вместе. Одно название, что обед. Но нелегко поверить, что Бронек ^{некогда ~~задавал~~} ~~присутствовал~~ за столом в обществе деда. Тяжелый он был человек, и бабушка постепенно, как водится, перенимала многое от мужа — немногословной делалась, с каждым разом ближе к переносице брови сдвигала; но эти-то брови и смешили ее брата. А когда человеку сме-

шно, почему бы ему хоть изредка не дать себе волю, не расхохотаться от души? Не отвечал дед даже улыбочкой, а Бронек злился на бабушку, однако ни разу не попрекнул ее выбором— да, да, не ладилось что-то... Если на то пошло, какое это имеет значение? Молчал дед, потому что уставал. Играл Бронек на скрипке, учил детей рисовать яблоки и мраморную голову без признаков пола, книги читал по вечерам у окна в своем доме на Замостье; света не было, темно, книгу откладывал, просто сидел у окна— дурманом клубился запах жасмина, еще росли петунии перед окном, и книга рядом лежала бесполезная, ибо не хватало света, чтобы разобрать написанное, да и в душе света оставалось меньше и меньше.

Из книг тех осталась одна: "История французской революции" в кожаном тисненном переплете с неперменной урной, копьем и Марсом. Все остальные книги разворовали в войну румыны.

Еще одно небольшое замечание: у деда тоже был брат, Петр, души не чаявший в нем.

— Нельзя сказать, что плохой человек был,— замечает бабушка.— По-своему добрый человек был, о вдовах пекся, евреев не трогал, иногда муки мне приносил, когда деда подолгу не бывало. Чего там! Человек как человек, похуже бывают.

Правда, Бронька ненавидел, по всему видать было, но...

Тут я Соне на ухо быстро так, чтобы не пропустить ни слова:

- А ты бы женилась на Бронеке?

- Да, да... надо говорить: не женилась, а вышла замуж. Но не мешай, слушай, сейчас он придет...

- Кто?

- ... и на меня косился, поглядывал ненароком, показывал, значит, своим видом, что равнодушен, нравлюсь ему. А когда Бронек заставлял - прямо беда, ну, как с ума сходил человек. Прищурится вот этак и говорит каждый раз, о одно и то же говорит, ртом усмехаясь: "Счастье твое, что мы до Варшавы не дошли. Эх, уж точно, что счастье! Тогда бы ты узнал у меня Францию!" - лицо смуглое, а глаза белеют, белеющие такие, и зрачки крохотные, с маковое зернышко. Это когда Бронек перед тарелкой книжку свою ставил. Что вы себе думаете? - он и в шляпе ходил, галстук завязывал навло, франтил, а уж как я его ни просила, ни умоляла людей не дразнить! Злые все были, обозлились очень: не шутка же сказать, война сколько... а голод? А он себе знай одно: фьють-фьють...

Вот прикроет, значит, Петр глаза свои белые, нагнет голову, как тот волк, и прямо пьяный, смотришь, никакого рассудка у человека, - и снова Бронек: "Если бы, - говорит, - не мой любимый единоутробный брат Савва, я бы тебе показал, где раки зимуют! А, пан Бронек? Знаешь, где рак зимует? Ох, не знаешь... А волк смаленый, знаешь, как пахнет? Шляхетный пан Бронек..."

И деду я говорила, сколько раз говорила, но деду говорить, как в лес кричать. Молчит, не отвечает. Вздохнет

и молчит. Не раз я его предупреждала, чуяло сердце, что не кончится наше житье добром, не миновать лиха... Послушает дед, послушает, и все как было, по-прежнему. Правда, у него свои неприятности. ~~были~~. Творилось тогда Бог вещь что; не уследить, с какого бока напасти ждут, да и сам он не охоч был до рассказов, а я не спрашивала, боялась— вы деда знаете. Но у кого беды не было? И если не было, то еще хуже— ждали ее, и она ждала... Тут добра ждешь, бывает, изведешься... да какое там добро! Сцепятся, подумаешь, порешит один другого, не спасешь, управы не найдешь. Петр, тот при власти состоял, силу имел, прислушивались к нему, а пожалуйся я кому? Чебуха одна. Ну, так Петр только и ждал, по нему видно было.

Так оно и вышло. Пришел однажды Бронек в воскресенье, а уже осень начиналась, я огурцы солила, из лесу вернулась как раз перед ним— по дубовый лист ходила; и деда, точно на грех, не было дома. Постоял Бронек, посмотрел— я чеснок затирала— подошел близко, обнял меня ласково и говорит: "Что-то плохо мне, Аннечка, неладно... Смотрю на детей в классе, а они как скелеты щерятся. Голову с кладбища приволокли. Тошнит меня... здесь",— пальцем у виска покрутил, а я не обращаю как бы внимания на его слова, спрашиваю: "Струделя хочешь, Бронек?"— вид делаю, значит, что не понимаю, не слышу, про что он говорит.— "Меда осталось немного,— продолжаю.— А струдель у меня в печи стоит, в одеяле замотала его, чтоб не застыл, как знала, что придешь. А то с малиной? Муки мне принесли вчера..." — "Петр?"— тихо спросил, а в ответ я ни слова. А хоть бы

и Петр, подумала, не лебеду же печь все время... И как подумала, смотрю, а злыденный тут как тут.

В калитке стоит, глазами мрачно так играет, исподлобья глядит. "Ну, вот, — слышу, прошептал Бронек. — Рано или поздно..."

"День добрый, люди, — в калитке говорит Петр и направляется к нам. — Шел мимо, шел и думаю: дай загляну к брату, проведаю, узнаю — не надо ли чего семье его... А вот и наш Бронек, — папиросочку отцепил от губы, — Простите, пан Бронек". Нарочно поправился и ни с того, ни с сего вдруг поклонился ему в пояс, а разогнулся — трясется от злости: "Ну, что подельваете, пан Бронек?" — "Ничего особенного", — пробормотал брат. И тоже белый, как стена, стоит, а губы серой ниткой на лице: "Ничего такого...", — повторяет и другим голосом, будто прокашлялся, продолжает, — вот тут у меня в глазах мухи поплыли, как услышала: "Товарищ Петр не знает, о чем я думаю? А думаю я, между прочим, про то, что то его счастье, что не дошел он до Варшавы. Большое в том его счастье". — "А что так?" — словно бы удивился Петр. — "А то, что я собственными зубами перегрыз бы ему шею", — заканчивает Бронек и уходит в дом, а я, как дура, остаюсь с макитрой перед Петром, не зная, что мне вымолвить. Посмотрел он на меня, а после на дверь, за которой Бронек исчез, и опять на меня посмотрел. Постояли мы немного, покуда я не пришла в себя и не сказала: "Сами виноваты" — не слушается голос; говорю, а голос дрожит не от страха, а от тоски какой-то. — "Никогда бы мой брат первый не стал вам говорить обидного".

"Почему? Правда мне никогда не обидна", — отвечает Петр. — "Обидно было бы другое, когда с двурушником, с Иудой Искаротским пришлось бы под одной крышей хлеб разделять и победы нашего славного оружия".

Под какой-то такой крышей, думаю я, а он свое продолжает, но как бы про себя уже: "То и хорошо, что сказал, знать будем... — и в лицо Броньку, который вышел со струделем, — Не так разве, пан учитель?" — "Так, так", — кивнул ему рассеянно Бронек и отвернулся. Вижу, смотрит на солнце осеннее и свистит себе, а по руке капля меда медленно так катится, за рукав бежит. Тут оса закружилась вокруг него. Он отогнал ~~их~~ ее, достал платок и вытер руку, а струдель на кадушку положил перевернутую, в листья дубовые.

Не хочу вспоминать, как ушел Петр, что говорил Бронек... На следующий вечер приехал дед. Бронька через неделю забрали. Ну и вот... Петра в Киев перевели в управление работать, а перед самой войной — в Москву.

В коротком просторном полушубке — такие романовскими называли — костлявый, угрюмый, ножницы-ноги, и очки искрятся от снега синевой огненной, за чьей завесой два серых камня-глаза постоянны в радужных силках, вставлены в глазницы надолго, но не навсегда, и скрип валенок слышу на узкой тропе, протоптанной мимо дома того — у каждого своя дорога, но у всех одна получается, — ни разу в ворота не постучался, не вызывал, не крикнул, не поднял ворон с голых сучьев криком; стоял, вперив глаза остывающие, су-

зав зрачки, во что-то необходимое для того, чтобы видеть не это, что перед ним, а другое.

И брат видел его, уверен в том. Вообразим, как отодвигал край занавески и видел привычную с некоторых пор фигуру у ворот. Не раз смотрел, надо думать, отгибая занавеску нестиранную, к стеклу прильнув, дыханием проталивая наледь, в которой дед появлялся для него, его брат.

За год, прошедший подобным образом, ни разу они не встретились. Дед приходил к дому своего вернувшегося брата не для того, чтобы его видеть. Закономерность его появлений перед окнами могла вывести из равновесия кого угодно. Возможно, это было частью стратегии дедасобой выкуривал из норы, себя выставлял приманка? Да нет же, какая приманка! Злобу, судя по всему, выращивал в том, кто сидел за стеной дома; злобу, чтобы из тайной она стала явной. Однако все равно выходит, что травил, гнал... Не надо было соваться сюда, — возможно было и так прочесть поведение дедасобой, а сунулся? Ну, что ж, ничего не поделаешь. И почему его принесло сюда, докатило? На родину потянуло? Ведь мог остаться там, где был все годы — там ему и быть бы, не уможая собой число нечисти, которой повсюду в досталь — там мог дожить и не помнить, не знать, и никто не напомнил бы, кому охота? Кто прошлое помянет, тому глаз вон... А тут дед ходит перед окнами, смотрит на дом с таким видом, будто купить хочет, присматривает, что-то в расчет берет.

- "Убью", — в первый раз так и сказал мне, когда начало таять. — "Не знаю когда, но убью". — "За Бронека?" — ре-

шила я спросить. — "Нет. Но и за Бронька тоже. Чем он хуже других?" — "Тебе виднее, — заметила я, — Да вон старый ты какой, зачем грех на душу брать? Этим им не помочь, из земли не поднять". — "Помолчи", — нетерпимый он стал к старости, слова ^{испирен} ~~возражения~~ не скажи ему! — "Нужна... ясность", — проговорил он, — "Сама говоришь, что старый, — а до страшного суда терпения не хватает ждать. И потом — это мое дело. Не суйся".

Дружная весна была в тот год. Таяло кругом ладно, быстро, правда, по ночам примораживало, но со дня на день теплей и теплей становилось. В апреле подули ветры с юга, со степей; сразу жарко стало, земля просохла. На паску у людей огороды и сады были вскопаны, деревья побелены, сливы зацвели. Жгли мусор, кто не успел. И тогда я, на пути домой (с базара шла) впервые за долгие годы увидела Петра. Увидела и остановилась, как вкопанная. Что осталось от него! Что осталось... Больной человек, развалина, — замолкала, останавливалась бабушка, — Водянка у него была, должно быть, — голова толстая, разбухшая, как тот кабак черный померзлый, пальцы — не согнуть, палки не держат, веревочкой палка к руке привязана, а ногами передвигает лед — лед, не отрывает подошв от земли. Ох, страшный... Боже ж ты мой, какой!..

— Ганя? — спросил, и в горле у него захлюпало.

— Я, Петр, — кошелку у ног поставила, платок на плечи сбросила.

— Вижу, идет Ганя, — сказал он, — Узнает, говорю себе или не узнает.

- Узнала, - отозвалась я, - Чего ж не узнать.

- Страшный стал, правда? - улыбнулся он. И лучше б не улыбался. Не приведи Господь ночью такое увидеть - зубы золотые, губы, как у слона, только синие. - Страшный, - подумав чуть, ответил сам себе, - Знаю. А нужна мне та красота, Ганя? Одной ногой в могиле стою, а там червяк не разбирает. Съест и такое. Да и ты... постарела, постарела, - вот окончил он, передохнул и прибавил сразу, - Другой тебя помню, девочкой, козой. Сердитая ты была, но хозяйка, спору нет. Что правда, то правда. Хозяйкой была.

- Была краса да сплыла, - я ему на это, - Было бы о чем горевать и слезы лить.

- Ну да, это, конечно, верно... - проговорил он. - И в церковь ходишь?

- Что это вы про церковь? Грехи кортят?

- Ходи, Ганя, - пробормотал он, - ты всегда в Бога верила. Тебе можно ходить. - И палкой в землю стукнул.

- Всем можно, - сказала я и подумала, что идти впору, потому что нехороший разговор у нас получался. Плохого не было в его словах, не скажу, да все одно - дурной разговор не в словах слышно. А он продолжает свое:

- Хотел бы и я, как ты, - сказал и вздохнул тяжело, и снова, - Говорят, что Бог не только карает, но и прощает? Что попы говорят, Ганя?

- А мать чему вас учила? - спросила я.

- Мать, говоришь? Когда это было! Не упомянуть...

Мать, стало быть, говоришь. Да вот так жизнь сложилась, что не одна мать меня учила, много учителей набралось за

мою жизнь, а мать... Она бы простила, как ты думаешь?

- Никак вину за собой знаете?

- Безвинных людей нет, Ганя. Этому я научился без помощи учителей. Хорошо, а Савва, например... Вон сколько воды утекло, всякого, сама понимаешь, было, ты седой стала совсем... Вот я как год здесь живу. Скажи, зашел он ко мне? Навестил? Что он?— и прямо как обухом ~~меня~~ огрел. Все вижу, все знаю— убить он меня собирается. Ну, и пускай убивает. Никогда меня мое чувство не обманывало. Пускай убивает— может, это и есть милосердие. А?

И вижу, заплакал после своих слов:

- Ты скажи ему, Ганя, чтобы он меня не убивал. Ладно? Куда меня убивать, я и так, как на третий год после погребения... Скажи, Ганечка, скажи, миленькая.

Кровь мне в голову ударила тут, не знаю, как добежала до двора, и кошелка тяжелая пушинкой стала. А там, во дворе, деду— сидел он на орехе, который третьего дня выкопал,— на одном духу и выпалила: так, мол, и так, выбрось из головы, убийца тоже нашелся, живодер проклятый! Но только как закричит он на меня— сколько прожили, не слыживала такого: "Я тебе слово даю, клянусь тебе, что не позабуду твоих разговоров и на том свете! Уходи с глаз моих прочь, покуда еще держу себя в руках!"— А какое там держит... Голова мотается, руки ходуном ходят, голову назад забрасывает, чтоб не дергалась, легче, значит ему, когда голову назад закидывать, а голова его, как тополиным пухом покрыта; вспомнила слова я Петра, про то, как говорил он, что я вся поседела, и такая жалость у меня в

сердце заиграла, такая тоска, что разорвется, думаю, сердце, а этот не унимается, кричит: "Я твой образа, подожди, геть на улицу выкину! Я тебе покажу снисхождение и милосердие! Я эти штучки все на память выучил... Я тебе слово даю, что еще одно слово- хату спалю ночью и не проснешься!"

Матерь Божия, что он городил... я как окаменела телом, шею не повернуть, глазами одними ворожаю. Вечером помолилась, отошла, и ничего, уснула. И снилась мне оса, вилась она над дубовой кадкой, и я себе снилась молодой с руками красными, как от стирки...

Несколько недель прошло. Дни по весне летят быстро, а тут они как будто остановились. Несколько недель или одна неделя... Ну да, времени не очень много прошло, потому что щепы слив тогда, значит, уже осыпались, яблони в черед свой зацвели. И первой, как всегда, моя любимая, белый налив, у колодца. Крыжовник давно в листьях стоял, еще до первой грозы успел распуститься, маленькие ягодки рядами висели уже... Как прибегает утром в седьмом часу одна женщина с той улицы, соседка Петра, - бежит к деду в сад, а он себе там верстак поставил, копается в железках, замках, - бежит она туда и с полдороги говорит ему, а я хорошо слышу, сама не пошла, но слышно чудесно, тихо кругом; вот она и говорит, мол: "Слушайте, Савва Алексеевич, что я вам сейчас скажу, я вижу, что вы ничего не знаете, а он, (про Петра это значит), пил всю ночь, пил и песни пел и кричал жутко, да так, что куры проснулись среди ночи, а потом плакал навзрыд, ей через стену все слышать было, и песни, и крики, - кричал, в пол стучал пал-

кой, а кричал про вас, что у него, стало быть, брат был единственный, никого не было на свете, ни детей, ни любимой жены, и что все кругом, кроме брата, для него зола, смиття, но брат тот против него зло замышляет, порешить хочет. И пил пуще прежнего, несколько раз в погреб спускался за вином, это когда водка кончилась, один раз свалился с ног, но поднялся и со двора неся скрежет зубовый его. Так что вы, как хотите, но будьте осторожней, сказала напоследок соседка. Он, сказала она, сюда с ружьем идет, и против него не найти сейчас никакой власти, чтобы остановить, а я вам сказала и мое дело сторона, потому что, случись, увидит ненароком меня тут— несдобровать мне, а у меня ребенок, и потому выпустите меня через другую калитку. Дед кивнул ей, поблагодарил, ответил, что ничего страшного— просто у них всегда так, с детства, с ранних юных лет, примерно каждый год случалось такое. Что же до власти, которой его остановить следует, то никакой власти не надо— человек успокоится сам, жизнь у человека долгая, много у него есть такого за плечами, чем и успокоиться можно, вспомняв то или другое, главное— напомнить. Проводил он ее, мне же наказал носа не совать. Сам ушел в дом и спустя несколько минут вышел снова, держа подмышкой ружье, а в руке табурет, который поставил на вскопанную грядку под стеной сарая, сразу, чтобы напротив ворот. Ружье за спину отодвинул, из кармана газету достал мятую, развернул ее на коленях и сел с ней: словно читать собрался, но очки на нем не те, что б читать... Не проходит и десяти минут, открывается калитка, и Петр, синий

весь с лица, как утопленник, — на палке висит, в живот ему ушла та палка, всем телом ее он, кажется, передвигает — в левой руке двустволку держит — явился.

Дед мне опять каким-то голосом, как дверь немазанная, незнакомым мне, значит: "Уходи, Ганя, Христом Богом прошу, не пытай меня присутствием своим — не видишь разве, что брат мой любезный пришел навестить меня!"

На что Петр, услышав слова деда, еще издали, медленно продвигаясь, с тяжким трудом свою ту палку переставляя, с натугой лютой: "А что Савва? Не ты, а я — первым к тебе пришел!" — кричит и хохочет, а потом палкой в тюльпаны запустил, отбросил от себя палку и уже без хохота деду так говорит: "Сиди, сиди, как сидишь, не двигайся... А я тебе скажу что-то. Не те времена, правда, чтоб с тобой по-серьезному говорил, но мы по-шуточному попробуем, здесь места хватит. Так вот, — говорит, — был ты мне, помнится, братом любимым, а нынче ты никто мне, сволочь, с которой я всю жизнь, не покладая рук, боролся. Эх!! Раньше, раньше, Петр, думать надо было, раньше... Упустил птичку — не поймать теперь... Но никогда не поздно всадить тебе в утробу, брат мой, полный заряд ненависти!

А мог ведь в порошок стереть, как того... Чем же ты мне заплатил за мою верность? Нас было двое — одна мать у нас, двое нас на всем свете было... Готовься, сволочь; тут я тебя своим судом судить буду. Мне терять нечего, сам довел; сам готовился убить меня, Каин, слабинку почувля? Не тот теперь Петр, думал? Ну, так получай, сволочь! — и поднимает свое ружье, а самого качает. Ну, думаю, упа-

дет в тюльпаны, изомнет цветы, проклятуций, и тут— точно молнией: Матерь Божия— о чем думаю!.. Не понималось мне, что взаправду все: и ружья, и дед, от которого одни очки в секунду остались на лице,— запеклось, корой покрылось... Нет же, прицелился, скаженный, еще и выстрелил— как лопнуло что в ушах. Одним махом все окна в сарае высадил разом с рамой— вот какая сила у него в ружье была, но сам не удержался, набок упал, забился, слезами залился горячими, и внутри у него кипит, аж мне слышать— клокочет, а он на колени стать хочет, руками цепляется за землю и так кричит, что слова не разобрать: "Прости, Савва! Хоть кто бы знал, как мучаюсь, хоть бы ты один слово сказал мне, пришел бы ко мне и промолчал, посидел. Я видел, как ты мимо ходил, смотрел в окна мне! От муки я такой стал, гнию весь, брат... Ты должен знать! Должен! Почему ты молчишь! Если знаешь, почему не отвечаешь? Ганя! Ганя, миленькая, где Бог твой, где!— стать невмочь ему на колени, валится набок, но ползет... Тут дед из-за спины свое ружье достает, кладет газету на колени и, не приподнимаясь с места, в Петра, который почти что дополз к нему,— из двух стволов сразу.

От головы кривая черная стенка осталась у Петра, мокрая...

— Мама, перестаньте, тошнит!

— А к ней припеклась какая-то красно-розовая куча курчавая, в пузырьях... Даже не простонал, нечем было. Хлюпнуло в нем пару раз и замолкло. А потом...

- Прекратите, мама, это ужасно! Ведь дети слышат, они не спят...

Или в другой раз— тише, настолько тихо, что само по себе крадется неуловимо повествование, но уже вовсе туманное, неизъяснимо зыбкое, в течении которого, плавном и тихом, яснее всего весна отражается, цвет вешний, лепестки на ветру юго-восточном, со степей, где холмы, холмы, склоны с убитой, скользкой травой.

В конце сада тоже трава росла, но иная, ничем не похожая на вольную траву холмов,— была она редка, водяниста, крупко-высокая, жилая. Кое-где рос кипрей, отмечая розовато-лиловыми цветами места полного запустения. Лопухи, кустики у столбов забора светлого щавеля, вперемежку с подорожником, жесткий волокнистый лист которого при нужде надо было прожевать в кашлицу и залепить ею содранный локоть, когда с дерева неловко сползешь— спиной или животом, ощущая кожей каменные завитки коры,— и неуследимо в белой шершавой ссадине, посреди смуглой выгоревшей ткани, как бы со дна глубокого, точная капля, даже островерхая какая-то, всплывает, растекается, бледнеет, сочится затем множеством мельчайших капелек, умножаясь в темное, темнеющее от того, что кажется, гуще кровь становится от солнца,— выпуклое пятно. И тогда провести пальцем, по всей руке или животу, и тончайший коричневатый след оставить, сухой след, но из глубины еще прибывает эта удивительно-волшебная влага, которую не сравнить ни с чем— очень медленная на вид, тяжелая, лишенная какой бы то ни было прозрачности, соприродной привычной воде, дождю, соку, смоле,—

ведь и смола на черешнях старых все же прозрачна, вытягивает зрение, различающее внутри ее застывшие трещинки, янтарные волоски, завихрения, медовые волокна, прожевав которые, исполняешься необыкновенной душистой горечи— это все сад, это и трава, и деревья, и дом в деревьях, побеленный тщательно весной,— немного голубоват, отдален, прохладен занавесями, пехнувшими стиркой, ветром, некой свободой, которой то больше становится, то меньше— в зависимости от неба, родителей, времен года или когда случается что-то совсем непонятное, например, ангел, сидящий на сливе в тех местах, где и травица худосочна, и лопухи, и щавель, и пенёк от липы громадный, источенный короедами,— пенёк-полис, в недрах которого неустанно кипела жизнь муравьев, солдатиков, в мягких трухлявых складках которого, за отставшей корой, в коричневых углублениях белые личинки покоились, похожие на мумии, но только не останки были запеленуты, а еще не бывшие, будущие.

Полуденный край запустения, а вечером начисто забывали об этом месте, как будто его не существовало,— трудно представить было, как может такая тишина по дню накрываться тьмою, становясь еще тише, неслышной... Светлый щавель, одуванчики горькостеблистые, кипрей отцветший; и за досками забора, в чужом саду— боярышник, ветви которого тянулись ввысь и с каждым годом становились сильнее, покуда не смешались вконец с сиренью и страшно разросшимся шиповником. И шепот деда стальной нитью: "А-а-а-а-а... свихнулась баба!"— гнал нас тревожно сюда, как воду, рябью, бичом шепота гнал, однако отец, усмехаясь своему

чему-то, уступая нашим уговорам, — выбрали подходящий момент, после обеда... благодушные, мушиный рой изумрудным звоном сплетает стены дикого винограда, воздух слепит трепетно; сон тяжелый в колпаке глухом... — на второй день, кажется, согласился взглянуть на то место, но когда его вечером мы спросили, — весь день на реке провели, — видели ли он что-нибудь? — ответил, что, к сожалению, ничего не смог увидеть, так как не дошел, у колодца задержался, яблоня обломилась, полствола отошло, и пришлось вернуться в дом, потом варом заливать, рогожей обматывать, подтягивать, как бы не рухнула совсем — жалко ведь, дерево хоть и старое, но родит рясно, терять не хочется — живое как-никак, подумать только: полствола отошло... — а там и забыл за делом: пока нашел рогожу, пока обрезал сломанные ветки, что, конечно, не следовало бы делать, и вообще хватит, достаточно на эту тему, неужто непонятно, что мать не одобряет, раздражать ее не стоит, и довольно, словом, все тут. Безусловно, бабушка не смогла удержаться и чего-то недовольно пробормотала, а мать из-за стола — похоже, что только того и ждала, с нарочитым безразличием кроша кусок хлеба возле тарелки: "Сумасшедший дом. Типичный сумасшедший дом. Нет, вы только подумайте, старая, неглухая женщина, а вот такое изо дня в день слышать — нет никакой мочи... Кондрат, ты слышишь? Сумасшедший дом!"

На что бабушка:

— Гляди, накаркаешь!..

Вот тут мать вскидывается, по-дедовски, вспыхивает, не выдерживает:

- Думайте, что хотите, но язык за вас никто не тянет. Детей постеснялись бы! - Добавляет несколько другим тоном и тянется рукой к середине стола, где коричневый кувшин стоит с тюльпанами, поправляет их, перебирает, проливая воду на скатерть. - Нет, кто бы подумал, что я буду жить в типичном сумасшедшем доме... - как бы про себя, точно повторяет недоуменно чужие слова, стараясь найти в них смысл, - повторяя медленно.

- Перестаньте, - на миг вступал иной голос, пресекая ее, начинавший было возвышаться. И бабушка не то чтобы обернулась к отцу - осталась вроде неподвижной, голову поворотила испуганно, и мне ее профиль виден с надменным прищуром... из-под платка в цветах, в маках, мальявах, - какого-то цыганского платка, а тут в мочке оттянутой еще плоский золотой круг покачивается, прядь выбилась, и у матери брови поползли вверх, а дед еще ниже к тарелке с супом остывшим, крупинки отлавливая холодной ложкой, еще ниже лицом резко упал, под стать слову, прозвучавшему столь неожиданно со стороны отца, которому, казалось, давно на все рукой было махнуть, - вот отчего не вмешивался в разговоры, - случалось, подразнивал иногда то меня, то мать или злил меня, доводя до слез, но ни Сони, ни бабушки с дедом не трогал, любезно и пусто рассматривая их голубыми выцветавшими глазами, (когда накатывало), становившимися вовсе ясными и светлыми к осени, к тому времени, что волновало его неустанно каждый год; вот выбритый до блеска череп приобретает глубокий ореховый цвет от солнца и ветра, под глазами выгоревшая кожа, пролегая бледной золотистой

белесостью, как бы припыленная, — все покрывалось нежным тонким прахом от дувших на исходе лета азиатских суховеев — в отличие от остального лица, головы, тяжелых кистей, оканчивавшихся недлинными крепкими пальцами с ухоженными ногтями, — на одном из них, каком-то одном из всех, тускло отсвечивало тонкое серебряное кольцо, но когда брился, словно наливалось оно язвительной силой, зеркальностью совершенной бритвы, зажатой легко и привычно в четырех перстах, — скользящей немо над головой. Негромко сказал отец, даже тихо. Однако поразило вовсе не то, что вмещался он, — порой случалось и такое: кривя темные губы, собирав морщины у глаз, как бы вглядываясь в произносимое — о пристальность говорящего! — не осуждал, не превозносил, скорее всего, замечал, отговаривал нечто, облекая это нечто в форму нарочито абсурдных предположений, вплоть до гримасы — с дедом, слышали мы, он вел себя по-другому — сказал тише говоривших, промзнес, как взвалил, и должны были все почувствовать горячее дыхание в покойном воздухе летней надвигающейся ночи, палящий выдох.

Как ни странно, обескуражило и не это — грусть, прозвучавшая в его голосе, непривычная нам, — вот что! — потому как неписанным законом, давним, древним, установлением (задолго до нас, разумеется, задолго...) — не позволялась она, считалась чем-то недостойным, унижительным, как бы грехом считалась, постольку, поскольку неприхотливо-скудная истина, положенная во главу угла, гласила — радуйся, ибо это все, что ты можешь сделать здесь, а не можешь — найди в себе силы не сетовать. Замерзни, остынь, закрой

глаза, пропади пропадом, но ни слова сожаления не должно упасть с твоих уст, даже наедине с собой, — вернее ярость, гнев, брань, безумие, но не печаль — что она, спрашивается? Тень она от чьего-то чужого неземного тела, враждебного, страшного?.. вестник она? И вот она входит в кости, в жилы, сушит их, и тело само по себе уже весть. Много лет позже, беспрестанно вытирая тем же цыганским платком глаза, нащупывая мое лицо руками, как бы отыскивая ответ на нем, ища подтверждения и своим словам, и пальцам и уверенности во мне, бабушка тихо поведала о последних днях отца, которые начались задолго до смерти, расскажет о его глазах, о том, как таяли они у него на лице, о том, как весь высох и превратился в ребенка — так что без труда мыла она его, переворачивала, обтирала... когда он отказался ото всех и лишь ее мог видеть спокойно, с ней мог спокойно лежать, папиросными веками, хрупкими лепестками плоти укрыв истомленные зрачки, видевшие уже то, что никому не было доступно, разве кроме него и бабушки. Крючконосная темнолицая старуха с требовательными беглыми пальцами на высыхающих руках, она была моим психологом, которому чужды были вполне уже и скорбь, и веселье, потому как перестало существовать то, что нуждалось бы в них, вот так как-то, а если не так — кто поверит?

По бритой голове провел отец ладонью и вышел из-за стола. И дед, помедлив малость, тоже поднялся, к порогу пошел, к выходу из дома прочь, вон... зашелся на пороге кашлем, долго спиной стоял, лопатками острыми двигая под рубахой, а на воротах — ни единой пуговицы.

И повечерье надвинулось на нас неведомой доселе печалью, проникла печаль в дом... зачем только?— тихий ветерок из черневшего проема, где дед стоял, сотрясаемый мелким сухим кашлем курильщика, перепоясанный на узких костлявых чреслах залоснившимся черным ремнем. Неторопливый ветер из черного проема, походивший чем-то на мучную вязкую ночную бабочку,— долго уже толкалась по стеклу, то кося сползая вниз, сырля мягким треском крыльев, то взлетая глупо к потолку и падая оттуда на скатерть, где кружилась с шорохом слепым на месте, и затем в окно стремилась, за которым бился, летел к которому, волна за волной, безмолвный ночной поток мошканы, серебристыми тучами клубясь под лениво освещенными ветвями,— из окон свет падал. Зеленым сырым волокном обволакивала ночь, тронутая как бы невзначай светом, истекающим из дома. Привыкнув глаза к нефритовой темени, схлынет воздушный хрупкий сор пядениц и совок— сладчайшей муаровой волной прошуршит в узловатых пустотах древесных теней, опадая с едва различимым стуком на крашенный суриком подоконник, но и он черен влажно, как и все, что пролегает дальше; привыкнув зрачки, шириться начнут, растекаться, исполняя глазницы тишиной омота, проросшего бархатом зеркала, и почему-то духотой приторной, густой, потянет, как на Троицын день, когда полы по щиколотку засыпаны высушающим татаринном, увидишь сквозь хаос замерзших земных превращений, в снежно-ослепительных тенях— узришь звезду, одну, вторую, и там еще одну... и до чего тогда ужасной в своей приближенности покажется

черта крыши, косо пронизывающая некой безусловной верностью линии ветви, да и они сами явственной гнетущей ненужностью предстанут, как и то, что было неотделимо от дневного размеренного порядка: стена, мерцающая известью, словно вымытым в росе голосом, серебристый ствол ореха, а внизу под ногами, мельком — то, близость к чему необъяснима и может довести до непонятого алчного плача (когда рот ровен, не щербат в рыдании, сложен спокойно), — там высохшие черешки, ветер их сбивает день за днем, вишен косточки заскорузлые, иссохшие, поклеванные воробьями; забившееся под скамью яблоко — беглец, обозначенный преждевременным тлением, сморщенными топкими болотцами гнили, и обгоревшая спичка, и стеклышко от фильмоскопа, слабая исцарапанная линза, скучная, брошенная на произвол судьбы, со вкрапленными в рыхлые соты железным камешком вялого венецианского перечисленья — (лагуна розовата, вскипает солнце у гибких песчаных корней, лебедь гипсовый, плоскости иной жизни — Соня, где это? А это? Это правда? — жирная угольная сажа и мокрые, крепко выжатые облака, или Китай) — бесполезная и скучная стекляшка, а было: часами на прямом огне мартовском высживали, направляя волшебный лучик радужный, связанный из пылинок, частей их, — тепла, на детское сукно зимнего пальто (и вкус кашля, как раскрошенный шоколад среди пряностей в буфете...), предчувствуя с тайной усмешливой жестокостью быстрый вороватый стебелек синего дыма, который вырывался в воздух безветренный, оставивший, наверное, навсегда в моей душе — можно сказать в сознании, но опять — таки: какое сознание тогда? лишь предощущение его —

фарфоровый оттиск всемирной окраинной пустоты, обнесенной прозрачной почти стеной, рядом вот этих бесчисленных стельков дыма, вырвавшихся из суконных недр, где погребены до холодов, сродни личинкам бабочек, жуков крохотные тела кашля и отвращения — Что вы здесь делаете? И кто вы такие — Мы ожидаем появление саламандры, Царь... — или папоротник, или что-то еще, подобное неуследимой птице дыма, взмывающей из желтоватых точек, оказывавшихся при более тщательном рассмотрении кольцами, мельчайшими кратерами, извергнувшими невидимые окончания пламени; и, конечно, не из одного дыма, не только из следов огня стена, но также из безветрия, найденного потом невзначай, походя, находимого ежечасно и случайно под ногами ночью во всех тех же высохших черешках, стеклышке, пуговице, в яблоке подгнившем где-то в укромном углу, в соломинках по-нищенски сырых, утративших свою хрустальную медовую жидкость, — это, как в ливень, покровы небесной безыскусной воды разъярено пеленают тугими потоками, и волосы, как водоросли, беспокойны в течении — струятся долу с водой вместе, не задерживаясь ни на миг, но между тем ты как бы навсегда в них, по крайней мере, покуда льет и грохочет в глыбистом, изломанном изумрудными сполохами молний верху, покуда не укрылся, — поднимись на холм, много их окрест, одинаковы они — один ниже, один выше, но поднимись, взойди — такое укрытие выбери себе: холм, на вершине которого можешь начать беседу с ветрами. И как потом высыхают капли на плечах и спине, и руках, и лице, в глазницах рябь брезжит озноба — так одна за другой появляются звезды, с упрямством

истовым путника возникая, которому спешить некуда, — крупный инструмент неведомого геометра отныне он — разум чей ^{бес} легко и печально, в самом начале, растворился в несметных колебаниях, и вот теперь оно: и тело и земля под стопой, и воздух — маятник, коса жалящая, мера чего-то...

И вскоре небо оживает. Расширяется перл зрачка темнолобый. Двигается и оживает чудесный гиматий, сокрывающий за миллионнооким и безмятежным подчас горением, а иногда за бесноватым свечением, вихревым, тревожным, подлинно огненную тьму лица Того, кто в оцепенении, должно быть, взирает на самую непонятную пустоту — нас, — окруженную стенами одежд, деяний, слов, чаяний, проклятий, — нас, восхищенных навсегда прелестью земной, и кому, выпрямив устало оплывшую спину, сжигая поленья шепота еженощно, молится гордо бабушка. За нас разве? Может быть, может быть... За себя? Вряд ли. Что она теперь самой себе? Не ветвь цветущая, не вода бегущая, не песок текучий, горячий, изглоданный временем.

—О-ох-х! — смеется она тихо, туже, прихотливо ^{вс} изученные ладони прикладывая одну к другой, — "Охо-о... Немного моему веку осталось. К Аврааму на пиво скоро".

Повторяет часто, чаще; натываемся повсюду на негромкий смех, как будто оставляет его во всех углах, а сама отдельно, в сорочке новой, с косой, чисто заплетенной, босиком — отдельно, и повсюду лиловые безлиственные кусты похрипывают: "На пиво... к Аврааму... скоро". Когда?!

А кто такой Авраам? Не тот ли, кому сказано было: Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего? Нет. Конечно, нет. Почему-то образ его связан, слитен с

неким, как именовали его, Абрамом— в смятно-зеленой бороде, восседаая на передке скрипучего, некрашенного, крепко сбитого длинного ящика с крошечным решетчатым окошечком сзади, грозившего ежечасно перевернуться; с кнутом, поднятым в одной руке, вторая на булавке, пустая, рукавом приколота к плечу, с глазами, полными слез явительных, солнечных,— пересекал на слабых он колесах городские чахлые просторы, двигаясь воистину с какой-то ветхозаветной немощью. И такими же, довременными были ликующе-скорбные вопли и крики прохожих; стучала гладкая костяная жердь с ременной удавкой на конце о крышу ящика, вой и визг глухие из которого; лай,— с него, чудилось, живьем содрана шкура— и такие же комья земли— рыхлые и липкие от дождя, летевшие вслед, или накрепко спекшиеся, подстать каменной соли, когда сушь.

Вовсе неудивительным казалось поэтому, что именно с ним свяжет свою судьбу бабушка после кончины,— что-что, а тайный смысл ее слов мы понимали без труда. Пиво также представлялось довольно легко— стоило мысленно соединить расплавленный молодой мед с горечью английской соли— домашняя панацея,— которой всегда было из недопитых стаканов на утро— но янтарная милая свежесть!— произношу— как приятно было смотреть на беззвучные отсветы, бегущие по скатерти, отвращая мысль о горьком лечебном запахе, а он, в свою очередь, сопрягался с неким, из смутной мглы (за окнами снегу надлежит быть, еще не осевшему, бесплотному, скорее, не снегу даже, а свету, ублажающему день, а до того— утро над землей) ароматом тмина, сушеных слив,

вызывая во рту вкус вовсе непостижимый горячего воска (на пасеке так, куда брали нас, выжевывали кислые зерна, нет-не сладкие, но и сладкие, хотя почему-то при этом возникала обструженная свежая палочка, погруженная в муравейник), пронизанного искрящимися нитями, — когда пиво вскипает пеной из смольного горлышка; и, наконец, все вместе уже принимало странно-больной облик пыльного дня, отравленного множеством глаз, упрятанных повсюду, кнута в заскоружлой нечистой руке, воздетого в темную синь детских небес, гортанного цоканья, ящика, в котором колыхалась бескостная музыка ужаса, а потом — пусто, вязко просачиваясь, капало несколько капель рыжей пены — бабушка, ее обескровленный смех — сползали по каменному ободу лживо вращающегося колеса, и теребил пену ветерок, теребили ее эфюпские тени непомерно разросшихся кленов вдоль сухой, как весенняя простуда, дороги, а там, вдали, уменьшаясь, и тут, рядом, у некоторых, стоявших спокон века, дребезжа фанерными мишенями, шляпы в руках несминаемые — перспектива тщательно отмыта сужением, — у кого на голове без изъяна посажена; некоторые указывают на север, некоторые направляют руку к земле, третьи спиной стоят, облаченной не по сезону в добрую старую кору сукна безо всяких украшений, разве что алая капля божьей коровки на плече, приподнятом подложной ватой... так ведь она улетит сейчас, вот и чешуйки расправляет — "к Аврааму на пиво", — тихо смеется она запавшими губами.

Понимает ли, что говорит в упоении своем?

Не спрашивай, не задавай бесполезных вопросов. Никто

тебе не ответит на них. Как знать, как знать...

И кажется так:

"Ночь смертная мя постиже неготова, мрачна же и безлунная, препущающи неприготовлена к долгому оному пути страшному... Да спутешествует ми Твоя милость, Владычице. Се, вси дние мои исчезоша воистинную в суете".

не

Да... Так, или иначе. Не нам вести счет дням исчезнувшим. И в доме преобладала суета, обращавшаяся, думается мне теперь, в итоге труднообъяснимым смыслом нашей жизни вопреки другой, длежащей там где-то, за рубежами любимых, ныне звучащих только в бездонных скважинах слуха голосов, — украшенной гипсовыми изваяниями вождей (чьи сапоги, тоже белые, гипсовые, ближе всего были нашему взору) или туголикими спортсменками, отставившими назад одну из слоноподобных лядвий, а в руке, в зависимости от настроения — то весло, то обломок, то планер, то совсем уже непостижимое индустриальное колесо с выломанными зубцами, на месте которых торчала непременно ржавая проволока остова... да, там где-то, за порогом, не тут, там, где вымороченность достигала воистину границ идиотизма, высочайших вершин хронического бесстыдства... Гипсовая империя, гиньоль — лишь единожды в силу неких неисправностей пресловутой машины, являющей богов, приоткрывший рытый в шитье парчевом занавес, и, как обычно то случается, — не остается места даже для злорадного хохота, хохотка — именно в тот самый момент, когда на сцене ничего нет: ни рук, прижатых к сердцам, ни лиц, перекошенных непосильными голо-

жесами, ни зияющих ран, откуда местами непрестанно сочится клюквенный сок с минеральной водой Боржоми, местами то, что на сок столь похоже /поди, значит, разберись сам/, - ничего, кроме огромной выпреобной ямы, а тут к тому же и благовонный ветер, веявший над головами восторженных зрителей, оказывается на поверку заурядным трупным запахом, застойной жирной вонью учебников по судебной медицине, а затем, точно по мановению волшебной палочки /прием, излюбленный кинематографом/, появилось в изобилии /привычное слово, любимое, желанное слово/ то, что источало сладковатый аромат - за каждым углом, в каждой спальне, на дорогах, пляжах, заводах, за спинами, по обе руки, и слева и справа, в кустах общественных парков, на лужайках несметных литературных гонораров, - обретали черты те, кого, оказывается, давным-давно не было, кого давным-давно позабыли. Иные, полудожившие, с пугающей виноградинкой безумия в пополневших глазах, с весельем странноватым разводами по голосу, дождались; но, безусловно, больше было тех, от которых остались одни имена, так сказать, поэтический материал...

И что говорили нам эти имена, что могли сказать бесконечной чредой следовавшие Ивановы, Сидоровы, Петровы! И было их так много, что само действие извлечения их из смрадных ям, которыми тотчас как-то сразу стали определенные географические названия, вскоре наскучило, утомило, обратившись в незамысловатую математическую операцию, но в первый день, когда многие не отрывались от газет и радиоприемников, просиживая в папиросном дыму, окаменев до

вечера,- дед к отцу подошел. Холода уже наступили или еще держались- не помнится точно- возможно, наступала медленная весна, однако казалось и кажется теперь, что дело шло к зиме, ведь, судя по всему, времена года уже следовали друг за другом в своем порядке, о котором где-то кем-то упоминалось, и потому, скорее всего, дед к отцу подошел, когда встали холода,- вот и ватник на плечах у него, придерживаемый одной рукой, чтоб не свалился: брил голову на крыльце перед зеркалом- это предверие зимы, утверждаю я,- спокойным, налитым до костяных краев пасмурной сыростью низких времен, и дед, не всходя на крыльцо, с вопросительным выражением протянул руку, проговаривая что-то.

Отставив бритву докучливую, узкое крыло, залепленное белым илом в серых оспинах, глядя вверх над собой, на чертивших птиц, ответил:

- Псы,- сказал.

- Грязные псы,- повторил он и наклонил голову, словно почувствовал любопытство к тому, что говорит. И продолжил:

- Были псами и останутся псами, Савва Алексеевич.

Псы шелудивые,- несколько раз повторил он, как бы прикрепляя намертво свистящее слово к тишине, не отводя глаз от птиц, распластанных, потаенно-бесшумных, губы языком облизнув.- И слышать не хочу. Ни слышать, ни видеть. И запомните, что ничего не изменится. Псы останутся псами, а кому, как не мне, .. сук люб им, кнутом поперек хребта! Относительно остального... Да, вот что касается остального,- скажу вам: урок усвоен твердо. Ничто так дешево не

обходится, как тюрьма. Мм-м... Прибыли баснословные, — уже немного холода в голосе выросло, но — А это? — дернул бритвой по воздуху в сторону. — Это? Еще один труп вырвет из могилы, еще один побьет камнями, по клочкам растащут... Известное дело, собаки!

В доме, повторяю, преобладала суета. Но ею, обращавшейся в средоточие жизни, ее ликом, неизменным на самом деле, вырезанным как бы из темных, прекрасных тяжестью своей растительной, глубиной пород дерева, — мы полнились до срока, до времени иного, какого ждешь в тумане слабых немощных представлений, будучи ребенком, однако ждешь, предчувствуешь — и останься, я думаю, в ту пору без этой "суеты", в которую несомненно входили и слова бабушки, и надменная отрешенность деда, и отцовская, до сих пор не понятая, презрительная любовь, и обособленность, болезненная гордость матери, останься я без этого — смог бы разобрать истину в смрадном и гордом бормотании моего блистательного великолепного друга Герцога Кентерберийского?

И впрямь, вправе ли назвать я суетой не имеющие конца и края хождения, передвижения, приготовления еды, пробуждения, роящиеся мелочи и книги, книги, безусловно... и пустые разговоры, стирки — чего стоит, например одно это: собирать зимой, обжигая руки в сумерках, залубеневшее благоуханное белье, ледяное полотно, шелковистый замерзший лен, хранящий потом еще долго день, ночь, день, ночь тончайший дух снега и ветра в смешении с ночным те-

лесным теплом! А бритве отца?— ставшее к нашему времени сложным ритуалом— резко вырезанной, протравленной цифрой в уклончивом кругу других дел. Вправе ли я назвать все это суетой? И вот теперь еще одно: цветы дневные и ночные, петунья, цинии, матиол, шиповник, а у нас говорили— "шепшина", боярышник, слюдяные крылья бессмертника, настурция, учившая глаз синеве своей ясной алой тишиной, нарушаемой разве порой что шершнем бело-опоясанным; а табак, с которого, чудилось, срывался ночной ветер, рождался там, в вялых, сморщенных, голенастых, бледных по дню стеблях, но и подсолнухи— вполне разумные создания, большеголовые, коронованные кипящим белым цветом, не желтым... даже черным или белым, и муравьи, их мурашья сверкающая свежесть, кислота расколотого на зубах незрелого крыжовника, стручки акации, а потом деревья, извилисто напоминающие тяжкий сонный свет, небо, когда горькое, когда тягучее, заселенное такими чувственно-осязаемыми, до зуда на ладонях, облаками,— не продолжение ли это все той же суеты? И когда мой приятель, Герцог, через много лет разыщет меня с разбитой головой, с содранной шкурой, найдет меня Марсием, полощущим обнаженное мясо на северном ветру, он скажет: "Зрение— это свобода",— и я его пойму.

Однако отвращу взор и снова: луна уходит, ночь на убыль, сеть нежной забраны окна... и сколь отчетливо опять разделяется мир... — небо, смотри, земля, любовь небесная, любовь земная, из века в век одно и то же. Вот так кому-то даны киди стада, шатры и срок длительный для наслаждения стадами, женой, шатрами, а другому язвы да-

лесным теплом! А бритье отца?— ставшее к нашему времени сложным ритуалом— резко вырезанной, протравленной цифрой в уклончивом кругу других дел. Вправе ли я назвать все это суетой? И вот теперь еще одно: цветы дневные и ночные, петуния, цинии, матиол, шиповник, а у нас говорили— "шепши-на", боярышник, слюдяные крылья бессмертника, настурция, учившая глаз синеве своей ясной алой тишиной, нарушаемой разве порой что шершнем бело-опоясанным; а табак, с которого, чудилось, срывался ночной ветер, рождался там, в вялых, сморщенных, голенастых, бледных по дню стеблях, но и подсолнухи— вполне разумные создания, большеголовые, коронованные кипящим белым цветом, не желтым... даже черным или белым, и муравьи, их мурашья сверкающая свежесть, кислота расколотого на зубах незрелого крыжовника, стручки акации, а потом деревья, извилисто напоминающие тяжкий сонный свет, небо, когда горькое, когда тягучее, заселенное такими чувственно-осязаемыми, до зуда на ладонях, облаками,— не продолжение ли это все той же суеты? И когда мой приятель, Герцог, через много лет разыщет меня с разбитой головой, с содранной шкурой, найдет меня Марсием, полощущим обнаженное мясо на северном ветру, он скажет: "Зрение— это свобода",— и я его пойму.

Однако отвращу взор и снова: луна уходит, ночь на убыль, сеть нежной забраны окна... и сколь отчетливо опять разделяется мир... — небо, смотри, земля, любовь небесная, любовь земная, из века в век одно и то же. Вот так кому-то даны ~~кажд~~ стада, шатры и срок длительный для наслаждения стадами, женой, шатрами, а другому язвы да-

рованы, сокрушение сердечное- плач одному вложен в глаза-
ницы, а другому- слова премудрости в уста. Какая ночь!
Уходит луна, давно свет погас в окнах, теперь полны они
отсветами странными, легкими, влажными, и никого нет, а
те, кто есть, спят и спать им... Нет луны. Пар вылетит уже
предрасветный в саду. Скользни в стволах, рассмейся -
и будь таков.

Таково вымышленное мною прошлое, взятое взаймы у самого себя- никчемное, пустое, однако же до отказа набитое невообразимым количеством вещей, их признаков, пустотами, где когда-то находилось то или иное, как если бы пространство не успело сомкнуться после исчезновения их-того или иного,- невылинявшие прямоугольники на обоях, висели фотографии- спешит на помощь расхожее сравнение, ничего не поясняющее, приводящее в итоге к целой цепи точно таких же праздных сентиментальных сравнений, окинув

которую мысленным взором с отчаянием решаю, что прошлое, о котором я говорю и так и этак, является неизмеримо захлавленной кладовой, донельзя набитой одними лишь сравнениями, кружащими голову возможностями сравнения, мало того, едва начинает брезжить свет более или менее определенного суждения, обнаруживается, что колдовская кладовая оживает, бесшумно— помнишь? птица, говорилось, в отлогом пасмурном небе, отставшая, не мечется, не кричит,— натягиваются образы и личины, все меняется таким способом местами, не уходя, не возвращаясь, и даже дыры, пустоты,— точно не сомкнулось время, а, напротив, разошлось и продолжает расходиться,— и те облекаются в замысловатый орнамент, на первый взгляд, вполне разумных доводов, из коих явствует: всему свой срок— так твердит один шепот утомленных мышц, шеи, глаз, кожи, а второй, немного утренний, не проспавшийся, продолжает витийствовать, излагая прочитанное, нескончаемую повесть... но что она мне! У меня скулы сводит от всего этого. Мой коварный хлам маячит перед глазами, марево, галлюцинация, пар над водами, ложь преображенная.

Удивительно, что мысль о самоубийстве никогда надолго не задерживалась во мне, не занимала моего внимания— не для меня забава,— представлялась тотчас по возникновению своему (а мало ли на то причин) гримасой (причин?— о!— зубная боль, потеря любимой пуговицы, письмо солдата в газете, импотенция, запах пирожного, мозоль, весна, искусство, гинекологические неурядицы в мужском быту, дурная погода, хроническое отсутствие денег, славы, любви,

падение давления, нравов, рождаемости, разрушение экологической среды, доброй воли и, наконец, разные мысли, о вечности, например... да мало ли что! Чего стоят неприятности по службе, когда ступешиваются идеалы и уже идола прокляты они, а не нимфочки-нимфы, когда отступают ревностные мечты о прибавочной стоимости, то есть о премии, попросту говоря, — отходят перед равнодушным приглашением начальника "поговорить": а вдруг анекдотец вчерашний, про это самое, вследствие чего гормоны ужаса, изумляя частично померкшее сознание неукротимой стихийностью, выбрасываются невидимыми железами... да что там, много причин подстерегают нас, и у каждой в руках веер неприятностей раскрыт широко, распахнут вратами адовыми — бал, да грянет музыка!) — гримасой жалкой, как если бы кто-то силился улыбнуться, (не растягивая губ, за которыми полным-полно и зачем столько человеку? — вскользь кариесом задетых зубов), ухмыльнуться как ни в чем ни бывало, когда плюют в лицо ему, — о, только бы удержать, не открыть улыбкой рот. Блевотина! Отодвинься, скотина...

Нет, с самоубийством у меня связывалось нечто, бытовавшее вне опыта, — погоди, но не след ли его, не запах его, рыская, выскивал ты в том живописно изображенном чулане, в слипшейся мишуре давно оконченных праздников, а теперь свалена без разбора... Мы говорили... Нет, постой, что искал?! Где был, куда уходил? Кто? Э-э-э...

падение давления, нравов, рождаемости, разрушение экологической среды, доброй воли и, наконец, разные мысли, о вечности, например... да мало ли что! Чего стоят неприятности по службе, когда ступеньками идеалы и уже идола прокляты они, а не нимфочки-нимфы, когда отступают ревностные мечты о прибавочной стоимости, то есть о премии, попросту говоря, — отходят перед равнодушным приглашением начальника "поговорить": а вдруг анекдотец вчерашний, про это самое, вследствие чего гормоны ужаса, изумляя частично померкшее сознание неукротимой стихийностью, выбрасываются невидимыми железами... да что там, много причин подстерегают нас, и у каждой в руках веер неприятностей раскрыт широко, распахнут вратами адовыми — бал, да грянет музыка!) — гримасой жалкой, как если бы кто-то силился улыбнуться, (не растягивая губ, за которыми полным-полно и зачем столько человеку? — вскользь карием задетых зубов), ухмыльнуться как ни в чем ни бывало, когда плюют в лицо ему, — о, только бы удержать, не открыть улыбкой рот. Блевотина! Отодвинься, скотина...

Нет, с самоубийством у меня связывалось нечто, бытовавшее вне опыта, — погоди, но не след ли его, не запах его, рыская, выискивал ты в том живописно изображенном чулане, в слипшейся мишуре давно оконченных праздников, а теперь свалена без разбора... Мы говорили... Нет, стой, что искал?! Где был, куда уходил? Кто? Э-э-э...

Город ледяной игральной картой лежал, золотился по обрезау. Но мне жарко, откройте окна, пожалуйста, — такая жара, не по сезону. А в позапрошлом году? Ну, так ведь в том году и зимы-то не было, слякоть одна. Смешно, смешно...

Нет, нет, распаял безрассудно я себя — тайна пошлости; определенно, сокровенная ее тайна, связана со словом самоубийство — "забава не для меня" полезло под колеса успокоительно, от чего подбородок упруго выпятился и два крыла рта упали вниз — мистерия для черни, равно как и иные представления, миракли, трагедии. Сегодня и завтра, проездом, труппа всемирно прославленных специалистов будет представлять психологический Гуманизм, романтическое Братство и патетическую Демократию. В утренние часы для старшеклассников, как обычно, с использованием всей наличествующей техники будет дана испытаннейшая Утопия с последующей раздачей леденцов и наборов для рукоделия: "Утопия в твоих руках. Сделай сам". Спешите. Занят весь состав. От брюнеток пахнет речной водой, это когда запах воды мешается с горячим духом мазута. Или когда на них оказываются нательные кресты, фальшивые, как и они сами.

Потом, пробираясь в праздничной оживленной толпе, по набережным, толкаясь, локтями разгребая, уже западая в себя от обилия смеха и раскланиваясь сдержанно, со вкусом, — с теми, кого встречал: знакомыми, ироничными светлоглазыми владельцами фамилий, составленных из чудных созвучий без единой "с", — я по дребезжащей пластинке в

кривых рыбах полночи, спотыкаясь на каждой вмятине буквы, распевал себе в уши, что означает- голос пускается по внутренним покойм- вначале побег, но тщетный- в чертоге горла скука, мухи, пустые комары, тихие кости, просверленные для него, убежищем служат долгое время, и надо быть тогда терпеливым, не дразнить его, потому что уйдет сонный, потянется к плоским островам, к дельте, заросшей осокой, к глиняным норам, ко всему тому, что так далеко и все дальше, дальше, туда и уйдет, а не в уши, как нужно, куда я распевал текст того, что вложено было в мой сон несколько раз, когда, клонясь блаженно под шум дождя на подушку, взмывал,- пустело сердце на лифте, зная, что он не подчинен мне; заросли кожистой плесенью кнопки, зеленью с тиснением необходимым: 1-й этаж, второй, третий... и еще одна кнопка с запятой полустертой, как если бы ее нажимали часто, на ощупь замшевая; и я в надежде, потной простыней обжигаясь, гладил поверхность запятой истертой, покуда не пробивала разрядом одним мысль: что не так с самого начала сделал- нужно поэтому восстановить картину во всех деталях, найти упущенное, разрыв в веренице мелких, многозначительных инструкций,- и почему-то слово "атараксия" венком худым впивалось страстно в волосы, и надо было одновременно искать ошибку, просчет, небрежность и отдирать колючки от волос, а лифт неся, потрескивая горячей спичкой, дальше, пролетая по многу раз мой этаж, и мелькала у лица милая дверь квартиры, где мог бы быть, уносясь, тотчас наращивая бег, но потом вверх, вверх, трехгранно, острее, уже со всех сторон- туда, где, по моему разумению,

никаких этажей, и жду затылком, лбом, когда вне окажусь, лишенный спасительной тяжести, выхлопнет когда глухо из кровли веселая моя коробка, качнется на атласной слюне паутины, блуждающей высоко над землей стадами и... этажи валяются, валяются сверху, уносясь книзу, сыпятся, как пиджаки в учреждении к обеду, вдоль перил, и конца не было.

Мне стало немного душно, и я погладил спутницу по руке:

- Нежности?— насмешливо спросила она.— Как понимать?

- Душно,— объяснил я,— Парит. Дышать трудно. Быть дождю.

- Но вы не дорассказали,— сказала она, снимая мою руку со своей,— Что потом? Виделись ли вы потом?

- С кем?— опешил я. И тут-то дошло до меня, что на протяжении всего нашего пути я ей непрерывно рассказывал о своем соседе.— Ну, чем кончаются все истории?— переспросил,— Я его больше не видел, он, вероятно, переехал, или я переехал; сменили место проживания и он и я, и не видимся более. Ну, чем заканчиваются подобные истории? Одним и тем же— кто-то уезжает, кто-то остается, чтобы рассказывать за бутылкой вина случайному собеседнику о деньках незабвенных, проведенных за душевной беседой... Что потом... потом? Он жил через дорогу. Я на седьмой линии, он на шестой. Это там, за мостами, за рекой. Вначале, как водится, я его не замечал, когда встречался в булочной, в гастрономе,— доводилось.

Двигаясь по этим местам с руками, живущими отдельно, заведенными двумя-тремя несложными мыслями о покупке на-

сушной батона за тринадцать копеек, папирос или сигарет, что, в сущности, безразлично для меня, но лучше табак, из которого скручивать приятно толстые, безнадежно рыхлые, прогорающие в мгновение ока цыгарки, уют, а также бутылку вина /на этикетке— лето/, если выдастся случай, а также молоко, а также чай, а также сыр шершавый и мокро-сетчатый,— двигаясь по кругу непритязательной необходимости, побрякивая разноцветной мелочью в горсти, я избегал замечать что-либо, выделять из пленительного, кружащего голову однообразия, никоим образом не обольщаясь на свой счет, ибо находил, что совершенным безразличием ко мне прекрасен этот утренний покой, дарующий меня безопасностью безлюдных солнечных, туманных, дождливых улиц, напоминающий при всем том далекие и смутные обилием теней, чем-то не завершенные дни на юге, когда, наученный Александром, пренебрегал одним во имя всего, что щемящей метелью тополинного пуха, лиц /как сквозь толстое стекло любопытства/, пальцев ног, живших в стоптанных легких сандалиях— внизу, и отпечатков на прямом льдистом стакане, исполненных сходства с невиданными туманными гроздьями необыкновенно прозрачного винограда,— всего, что проходило сквозь меня приятно щекоцущим сквозняком, не посягая ни на внимание с моей стороны,— так привыкают звери и ходят безбоязненно около,— ни на меня самого.

Несколько времени спустя, когда по привычке, выкладывая на прилавок деньги,— уже было не раз так— вслед за ним,— о котором узнал позже, что живет через дорогу,— в той же булочной, в том же гастрономе, где просыхали мраморные

свежевывмытые полы, — он выбирал из выеденной прикосновениями плиты остаток медью, я протягивал шутовскую горсть; он удалялся, я, оборотясь в его сторону, поневоле следил за ним, танцующим в белоснежной футболке, угадывая под ней и под легкими застиранными штанами плоть, совершенную и независимую, как его поступь, а в себе — первые признаки того чувства, которое называется сожаление, — потому что разомкнутый круг — встреча — возвращал меня к удивлению, к вопросу, к недоумению и затем к неодолимому желанию покончить с вопросами... и в самом деле:

— И в самом деле, — пробормотал я, обращаясь к кассирше, — Вы его знаете? /двойники, фантазии с двойниками меня не устраивали/.

~~Юди~~ — Да, — ответила она, — Немой он. Уже год как ходит.

Теперь мне стала понятна карточка, которую он держал в руке перед собой, когда выходил, — крупно, столбцом испитанную литерами и цифрами, и в которой успел я, изогнувшись, как будто бросившись с крутого берега, огибая телом в воздухе тупую теплую отмель, кинувшую мне навстречу, снизу, темную меховую шапку удара и жирную соль погружения в маслянистые полукружия крови, — прочесть успел: "Чай- 38, хлеб- 16, сигареты- 35, молоко- 30, масло- 36, джем- 56, спички... кофе... пиво... яблоки..." До чего несложно!

И как-то вечером, возвращаясь домой, я увидел его на скамейке в Соловьевском саду. Вначале он был не один. Сидела... Сладко расплылось соблазнительное: "А что если на этом закончить? Забыть о нем" — тем паче, что неожидан-

но, впервые за последние дни, пьянящая воровской, запретной радостью подступила почти к самому лицу очевидность того, что потом я за досужим размышлением где-нибудь в расстроенном трамвае на скорую руку поименую "учением дерева", в котором улягутся рядом понятия пространства и смерти, потому что- совершит странный веселый скачок мыслеточно так же, как дерево, расправляющее в пустоте ветви, связывает ее, организует, воспитывая в нас одновременно благородное чувство объема, глубины,- так первая смерть предлагает сознанию преодолеть иллюзорную линейность существования, сообщая ему некую глубину, перспективу, отрадную, как бы выразиться, неоспоримой подлинностью... смерть тогда обнаруживает свое сходство с ветвями; мы растем во времени смертью,- обнаруживает себя творительный падеж,^и благодаря ей находим истинное равновесие красоты,- но вот корабль, который я с энтузиазмом возведу на песке, внезапно даст течь, и, сломя голову, я брошусь за борт, рискуя сломать себе ноги. Иней, смех, ломкие морозные прутья. Ива.

Когда я остановился около него, не думая о будущем неминуемом крахе, исполненный таинственным лишь звучанием, в котором слух нащупывал отсветы неизвестной мне мелодии нового поражения,- тут я хочу заметить, как по душе нам всем игра в кубики, сколько наивной радости доставляет она нам, какую безмятежность несет она сердцам, полня их мгновениями так называемых озарений независимо от того, что с чем складывается: ферзь ли с профилем Диотимы или зоны со скорлупками элементарных частиц, либо числа

с числами, куда, словно заходящее солнце, опускается полуслучайное слово, — он сидел один. Ее... кого-то, словом, не было. Он поднял на меня глаза, улыбнулся, вытащил из-за пояса листок, а из заднего кармана, подаваясь вперед, — карандаш; написал: "Мы, кажется, соседи? Можете говорить. Я хорошо слышу".

Раздельно, так разговаривают с иностранцем, и громче обычного я произнес: "Я давно знал, что мы соседи. Видел вас. Будем курить?" Он утвердительно кивнул головой и снова, опять-таки из-за пояса, вытащил две сигареты, царапая целлофаном воздух, — себе одну, вторую мне. Над рекой было светло. Еще светлей было над Синодом. И деревья вверху, где что-то глухо потрескивало, были спокойно светлы, темнея к подножию стволами, и троллейбус слепой за стволами крался, урча бархатно. "Ну вот...", — проговорил я, и не мог больше ничего сказать. Где я был, если не здесь?

Он всмотрелся в огонек, розово цветущий на конце сигареты, ласково положил ее на скамейку и на оборотной стороне листа, где писал минуту до того, вывел неторопливо: "Вам любопытно?" — взглянул на меня, отчего я понял, что необходимо ответить, и я сел рядом, а после сказал: "Не очень. Не совсем, вечером. Утром, другое дело..." — и, поразмыслив, прибавил: "Такое раздражает утром". — "Почему?" — а на самом деле поставил он вопросительный знак плавным басистым росчерком — "Это же просто". — "Ага, — догадался я, — Вы и слышите, и говорить, наверно, можете, да?" — Он кивнул. — "А зачем?" — спросил я. — "Йог? Исихаст? Акофатическое богословие? Познание? Неприятие? Что?" — сигарета не тяну-

лась, и мне сразу все надоело. — "Боже мой! — сказал я, — Неужели этого нельзя избежать, я имею в виду... — Он остановил меня, притронувшись к колену. Следует описание пейзажа.

"Вы не так поняли, — быстро начеркал он, — Я, потому что сам..." — тотчас зачеркнул написанное и новое вывел пониже, в конце листка: "Плохо видно. Постараюсь так — стало понятно, что много говорил; разное говорим, и мне плохо, язык — недуг, болезнь. Без конца одно и то же". Два последних слова он /не считая союза/ обвел овалом. Должно ^{его} быть, в них крылась тайна.

На листке оставалось еще немного места, и он не решился преинтереснее его заполнить: "Вы не пробовали голодать? Молчать — то же, только лучше". — "Пробовал", — сказал я. — Почему не пробовал. Все пробовали". На его лице проявился интерес. Видимо, он ждал, что я ему расскажу, как у меня протекало все это молчание и голодание. "Не помню", — пожал я плечами.

Кажется, мы пошли к нему домой. Ну да, был и было... Вроде бы он посадил меня в грязноватое кресло, из которого торчал клык поролона... Кажется, в его постели спала девушка, которая, мнится мне, на самом деле не спала, а разглядывала меня, моргая, а, возможно, подмигивая. Кажется, мы беседовали, если наши отношения можно назвать беседой, а не игрой в карты, и из беседы с ним я узнал, что он не принимал, оказывается, никаких решений, а просто в один прекрасный день с ним как бы что-то случилось, — разумеется, и вспышка света, и остальное, и восторг, и по-

нимание: медленней стал в словах, ворочались они у него с трудом на языке, а в голове однажды вовсе их не стало— последние войска, написал он, улыбаясь растерянно, покинули его, и вот он просыпается— никого, ничего, один он. "И я не знал долгое время, что же делать с собой,— закончил он,— Наступили дни мира". Он двигал листки с усердием шахматного игрока.

По мере того, как темнело, накалялась лампа под потолком. Девушка потянулась, продемонстрировав пепельные подмышки, зевнула и скинула с себя простыню. Она продолжала лежать, и раскаленная бегущей паузой ночи— смёрклось вдруг— лампа обливала ее желтым огнем. Вот эта не загорала, подумалось мне, она никогда не выходила из комнаты... Настала пора назвать его,— подумал я,— потому что говорить о нем "он" чересчур утомительно. Он снял с кипы чистых листов один, задвигал карандашом, после чего подал лист ей /девушке, которая вначале моргала, смотрела, потом скинула на пол простыню, а после того зевнула во весь рот/

— Одеться?— спросила она кого-то над собой, в потолок обращаясь.

— Одеться...— с другой интонацией проговорила она, как бы раздумывая,— Значит, одеться,— произнесла она с горечью.— Натягивать блузку, юбку и все остальное?— Я хотел было заметить ей, что она не относится к числу тех особ, кто носит "все остальное", но передумал, а тут еще ее приятель, затащивший меня к себе, подал через стол ту кипу страниц, с которой лишь только снял чистую. "Титульный лист",— решил я. Тотчас я нашел, что думать стал как—

то отрывочно, наподобие тех записей, коими мой сосед потчевал меня, а он, должно быть, заканчивал еще одну... и я прочел: "Это осталось от других разговоров. А кое-что сам для себя записал, так сказать, чтоб не забыть. Посмотрите, ежели не скучно".

- Одеваться так одеваться,- вздохнула его подружка,- Вечно: то раздеваться, то одеваться,- Не накинув на себя ровным счетом ничего из "всего остального", она прошла мимо меня, едва не задев мои плечи высоким бедром, приблизилась к окну,- когда, наконец, в литературе все сядут спокойно и говорить будут, не бросаясь к окнам и обратно, не расхаживая туда-сюда, подавая тем самым повод развивать необременительную тему интерьера, изящно уклоняясь в философские отступления относительно вещей, несущих на себе облик их владельцев, но что мог рассказать мне раздавленный окурок в пустом спичечном коробке? Какую печать чьего облика следовало искать в нем? Я смотрел на ее длинную спину, сырые спутанные волосы, лежавшие меж лопаток, на ноги, чуть расходившиеся узким углом от колен к бедрам, на синюю вену, томительно мерцавшую под кожей голени, таившую в подколенной впадине, где тень,- смотрел. Она, перегнувшись через подоконник, вниз смотрела, я на нее- недолго, правда, несколько секунд: ожидало меня то, что "осталось от других разговоров" и что я себе довольно смутно, но представлял,- да, отвращение... да, немощь... да, гнев ослепляющий, разрушение-

"Если язык говорит нами, то кто же тогда молчит?"- Я потер глаза, отгоняя неуклюжую химеру прозрачного намека;

и вовремя, так как она стала что-то бормотать, размахивать какими-то студенистыми конечностями,-

"... стал чище видеть..." - прочел дальше, перескакивая через детальные описания того, что стало чище,- "Вначале мне казалось жестокостью... Чистота, не больше...- и снова рефреном,- Я стал видеть, что мне не хватало до сих пор желания мыслить, думать легче, думатья располагается вольно: и тут, и там, повсюду одновременно. Мыслить труднее- что сейчас для меня обозначает покуда самое простое- ступать шаг за шагом, не упуская ничего, не изыскивая ~~каких~~ подмены, отвергая аналогии... в противном случае следует дурновкусие художественных пассажей, схожих с лоскутным одеялом,- вместо нити. Предпочтение нити, пушкской мой разум годится на то, чтобы довольствоваться лишь узлами, но- нить. Не одеяло же дано было Тезер, а нить".

Я поднял голову. Она стояла лицом, то есть не лицом одним ко мне... Животом выпуклым, как у Кранаха, торчащими в сторону большими грудями, шеей, руками, вывернутыми ко мне ладонями, на которых тлели искры пота,- опущенными вдоль острых высоких бедер, а я... я добрался как раз до любопытного, на мой взгляд, но дословно: "Достоевский (вот оно! как я ждал этого имени...)- творец для глухих, читающих по губам или по ряду принятых в силу каких-то правил знакам... своя особенная, искусственно созданная азбука, которая тотчас теряет смысл, если перестанешь говорить. С тех пор, как не произношу слов, он пропал. Странно. Но другое! Я, любивший его тяжело, до снов, беспокойно... за его безошибочное знание моей "анатомии",-

не другого, — теперь не в состоянии понять. Впопыхах, вскачь, полы разметав о нескончаемых страстях с упрямством бухгалтера, нажимающего на клавиши перегоревшего калькулятора, — какой ужас гнал его пальцы? Впопыхах, бегом... кто это? — "придерживая шляпу"? Неважно. Не в этом суть. Я возвращаюсь к тому, что..."

— Как вас зовут? — обратился я к ней, заламывая зрачок книзу, не отпуская бесконечные строки, начинавшие являть постепенно свой смысл.

— О! Выходит, вы не из этой компании? — воскликнула она. — Значит, вы умеете говорить? И не обмениваетесь записками, как прыщавые девки на уроке пения?

— Верно, — сказал я, — Я не обмениваюсь записками, как прыщавые девки.

— Тогда сделайте одолжение, помолчите немного. Ладно? Ужасно, не правда ли? Скучать по человеческой речи... Тосковать, как я тоскую здесь, по обыкновеннейшей беседе... — Вам не приходилось сходить с ума? Не от безмолвия, нет, конечно же не от безмолвия... От идиотизма положения? — помедлив, она добавила лениво, закрывая глаза, — Мне кажется, что я разучилась понимать — вокруг, кажется, говорят на чужом языке, в котором я угадываю кое-что, а все остальное такое чужое, чужое, чужое! Кстати, вы о чем спрашивали? Может быть, я ошиблась, но мне послышалось, что...

— Как вас зовут, спрашивал, — пояснил я.

— Понимаю... — сказала она и помолчала, — Понимаю. Он ведь немой, — вздохнула.

И погрузилась в оцепенение, но ненадолго — я успел

прочесть лишь какие-то рассуждения о музыке, оставив мысль, что нужно найти хоть какую-нибудь связь между строками, потому что бессвязность раздражала, бессвязность кривлялась и ускользала: внешне все шло своим чередом, но в какой-то миг я останавливался, ощущая, что меня бессовестно надувают, и, что интересно, — как бы настороженно я ни вчитывался, как бы ни медлил, этот миг настигал меня с постоянством маятника. И потом что-то говорилось о музыке, о том, что звучание — нечто совершенно отличное от цвета, о другом, о третьем...

— Он немой. Вы слышите? Да не читайте, умоляю вас, — крикнула она, — Хотите знать, как это делается? — она провела рукой в воздухе волнистую линию, — Нужно как следует напиться или нажраться какой-нибудь дряни. Хотите, мы с вами будем говорить? Говорить, говорить, говорить... Это же лучше в тысячу раз, в тысячу тысяч! Как это прекрасно! Господи, как прекрасно разговаривать о чепухе, — раскачивалась она, — о глазах, о любви, о цветах, о дожде, о том, кто что сказал вчера и давно. Говорить о счастье, мечтать вслух...

— У меня создалось впечатление, — сказал я, — что вы никак не можете раздеться.

— Да, отчасти вы правы. Погодите, я только оденусь, и будем говорить.

С этими словами она устремила к шкафу без дверей, вытащила оттуда показавшееся мне непомерным по длине белое нечистое платье, с усмешкой накинула его на плечо, затем стала на колени, согнулась так, что позвоночник изог-

нулся выпукло под кожей бамбуковой плетью, пошарила под шкафом и вытащила две церковных тонких свечи. С платьем на плече, падавшим до самого пола, со свечами в руке, пристально глядя на меня, голову склоня, приближалась она, не умолкая: "Как чудесно! Мы будем разговаривать о юности, о надеждах и упованиях иных лет, о любви в цветущих майских садах, ведь правда?..- показались слезы на ее глазах,- Ты умеешь говорить о любви? Впрочем, какое это имеет значение? Не слушай меня... Главное- любить, а слова придут сами, но и без них нельзя, слова необходимы любви- как же без них ты скажешь ей или ему... Ты понимаешь?- она остановилась, облизнула пересохшие губы,- Или нет, скажи- нравлюсь я тебе? не спеши отвечать. Подумай, прежде чем ответить и не бойся обидеть меня. Хорошо? погоди, я одену платье, хочу, чтобы ты полюбил меня в платье. Разве не так, душа моя?

И зажжем свечи, обязательно свечи... Здесь нужен свет. И, прошу, скажи правду- смог бы ты меня полюбить? Если хочешь солгать- солги, в начале каждой любви можно отыскать ложь. А на него не обращай внимания. Ему никакого дела нет...- обернулась она к нему, сидевшему напротив, прикрывшему глаза легкими веками,- Тебе не нужно! Ничего не нужно, ты сам, сам, а мне?.. Ах!- вдруг воскликнула она и залилась слезами,- Ах, я не смогу любить тебя, не смогу. Я не смогу любить его,- и плач ее был нежен, как легкий весенний дождь. Покачиваясь, сказала, а платье сползло на пол.- Он мог быть моим милым, но не суждено нам того! Я не могу... У него на шее... у него на груди...

- Позови цыган,- сказал Немой и закрыл лицо руками.

- Я не могу... - всхлипывала она, - Не могу.

- Пожалуй, мне пора, - сказал я и приподнялся, чтобы идти.

- Возможно, ты и прав, - не отнимая рук от лица, сказал Немой, - Возможно... Нахожу, что тебе необходимо уйти, потому что, не в обиду будь сказано, ты смутил ее дух.

- Не уходи, умоляю тебя, - просила она.

- Уходи, - повторил Немой, - И не вздумай возвращаться, - И, уже обращаясь к ней, промолвил негромко, - Вытри лицо и позови цыган. Они не спят. Они мне нужны.

Существовала и вторая версия, из которой явствовало, что я безудержно напился с немым соседом, опорожнив неслыханное количество бутылок белого вина, а потом, целуясь поминутно, с криками швыряли мы бутылки в раскрытые окна, прислушиваясь к тонкому неземному звону, летевшему к нам из глубин двора, напоминая какое-то рождество в жарких экваториальных странах, а потом очутился в постели с его подругой - немой сосед уснул в кресле, - но что творилось дальше, помню скудно, так как качало меня немилосердно, подбрасывало и опускало после вина, и, чудилось, что плыву я на борту белоснежного лайнера в край далекий и причудливый, и что-то про залив Монтерей говорилось, на берегу которого вырастали сосны, прямые, туго натянутые в синеве, и ни одного комара вокруг... благодать.

А когда уходил, она вышла проводить меня, путаясь в белом платье, со стеклянными цветами в руке, и при прощании, потупясь, протянула мне мой нательный крест.

- Ты обронил,- прошептала.

Но мог ли я его обронить, если висел он на шее моей с давних пор на сыромятном ремешке, собственноручно вырезанном мной из старой супони?.. Однако и срывать его с меня никто не срывал. Вот тут-то, оставшись наедине с собой, не твердо шествуя через Академический сад- наискось,- где капало мирно с ветвей- роса, - я и понял, оглушительно икая, что на меня началась охота. Как и почему, какая охота и зачем?- все окутывал утренний туман,- на это ответить я был не в состоянии. Я только шел и твердил: "Началась охота, охота началась, каждый охотник знает, где сидит фазан, наука умеет много гитик... охота началась, началась охота", - повторял я в такт шагам, направляясь к Атлантическому океану. С деревьев капала ночная роса, туман обволок кусты кизила. Вчера или позавчера он расцвел. Мимо- не пройти. Я шел к песчаным, отлогим пляжам Атлантического побережья, плешивый и сосредоточенный.

Мне стало немного душно, и я погладил спутницу по руке.

- Душно,- заметил я,- К дождю.

- Оказывается, вы любитель помолчать,- заметила она.- Вы бы моему жениху понравились. Он терпеть не может болтунов.

- Пустяки,- ответил я.- Для меня помолчать иногда одно удовольствие.

- И вы считаете, что ваши друзья разделяют это удовольствие?

- Для них, думаю, услышать мое молчание- одно удоволь-

ствие.

- Сколько уверенности! - возмутилась Вера. - Слепая уверенность в непогрешимости...

- Если на то пошло, вы сами попросили меня молчать, - выбиваясь из сил, сказал я быстро из боязни перепутать порядок слов.

- Но не следует так все буквально понимать!

- Вот-вот... Я спал. Потом я весь день спал и не пошел на работу, - заметил я и почувствовал зубы, которые проснулись во рту.

Группа деревьев прошла мимо нас, как поредевшая толпа святых, на головах их лежала толстая пыль и за ушами стояла тишина, сложенная из лунного крошева, бензиновой гари и птичьих костей, которыми усеян был их путь, - небольшие строения беззвучия: о них ли говорил немой, когда дразнил замечаниями о музыке, подсовывая свои листки?

- Я спал, - сказал я. - Выдумывал. Да простят меня те, кто не дозволялся меня, - я спал. - Мимо шли.

Из подъезда театра в это время выпала толстуха в нейлоновом жабьем плаще. Затравленно озираясь, она ринулась к обвисшему щеками тощему незнакомцу и, зацепив голубыми зубами нижнюю, выложенную вишневым слоем губу, толкнула его в плечо рукой, после чего подалась вперед - головой, обсыпанной кудряшками паклевыми, упала ему на грудь, причем пришлось падать ей вниз, он ниже был... .. на огромных, по-паучьи осторожных колесах комариная тележка толклась у тротуара, апельсинами груженная, билась о перебрик; грязный позади метался халат, лихая удадь наплы-

вами— один ~~ж~~ из них: лиловый нос— забубенность, вольница— и — о чудо!— колесо точно отклеилось, отвалилось ломтем сырным сетчатым, отошло, посмотрело и кинулось восвояси, виляя похабно между машин. Россыпью бесстыдного заморского изобилия плоды хлынули под ноги, и мы, осторожно ступни из сладкого пружинящего покрова выдергивая, дальше ушли, колесо покинув пляшущее, горящее и рабочего в капитанской фуражке на затылке, где нос рдел клубнем забубенности и воли.

— Там, через дорогу, через улицу,— заговорил я,— Там, где я живу,— напротив почти, но войти надо во двор, а не с улицы,— там живет один парень. Я его вижу довольно часто. Он ходит в ту же булочную, что и я, и в бакалею, иногда в кафе, что на углу Второй линии и Большого проспекта. По-знакомились мы с ним несколько неожиданно. Было ясное осеннее утро... Представьте— утро, молодость, незримо хлещут прозрачные потоки над головой, потому что ветер, ветер, от этого и от многого другого вы чувствуете себя необъяснимо легко, думая про себя, что с каких-то пор осень стала весной... Поют птицы, щебечут канарейки в окнах дворников и инвалидов, у неудачников нет канареек, у неудачников в окнах стоят пожелтевшие пакеты с кефиром, а дворники, инвалиды, неудачники вкупе со всеми теми, кто намеривается извлечь выгоду из остатков вчерашнего счастья, разбили бивуак у приемного пункта посуды за зубчатыми горами мутного бутылочного стекла. Я вышел на улицу, закурил, не прикрывая спички ладонью...

— Вы уже рассказывали это!— издаലെка сообщила Вера.

- Не все рассказал! - вырвалось у меня. - Например, не рассказал, что Хайдеггер повесил дырку от бублика на шею нашей глупости. Не рассказал к тому же, что по утрам у меня болит сердце, а папа мой был полковником. У вас был папа? Ну вот... у меня он был полковником. Наконец, ни словом не обмолвился об одной занятой компании, которая некогда вечером отправится на поиски вина, и будет стоять то время, которое зовется кануном зимы. И рассказывал ли я о Герцоге? Сознайтесь, что ни единого слова вы не слышали от меня о Герцоге? Ну, так вот...

- Поразительно! - прервала она меня. - Как много всего вы знаете!

- А вы ощутили? Вы почувствовали остроту?

- О да! Еще бы!

- Тогда вы... тогда вы просто наркоманка, - сказал я.

- Вы пронциательны не в меру.

- Служба такая, - отозвался я, покачиваясь с улыбкой Будды среди мусора в огромной лохани лотоса.

- И сколько платят за пронциательность? - осведомилась она.

- Инфляция и девальвация не в силах подорвать курс пронциательности, - заверил я ее. - Ибо истинные ценности останутся ценностями на все времена. Ну, а теперь, мой милый друг, вы расскажете мне сказку. Такая безделица - рассказать сказку! Коль скоро вы признали мое всеведение, вам придется кое-что рассказать самой. Итак, во-первых: Амбражевич. Допустим, мы ведем... с вами, разумеется, в одной команде - следствие. Жил на свете некто имярек: та-

ков отправной пункт, топорный рисунок, по которому надлежит, порядочно полюбив карандаш, помусолить некоторое время, расцветить воображением.

- Во-вторых,- подхватила она,- проживает на свете некто, кому не терпится продемонстрировать незаурядный блеск ума, некто имярек, наделенный вдобавок к вышеназванным качествам, еще и чудовищной проницательностью...

- Благодаря чему,- продолжал я,- этот второй, ваш имярек, находит достаточно сомнительным следующее положение: человек, за которого борются геронтологи, человек, имя чье не сходит с языка ученых всяких мастей, мечтателей, воспитателей, писателей,- тут прошу быть внимательной,- в силу рокового стечения обстоятельств попадает под машину.

- Я не хочу быть внимательной,- произнесла она сухо и отвернулась.

- Вот и все. Совсем не больно...- закончил я.

- Это приводит меня в уныние,- сказала она.

- Что? Что приводит вас в уныние?

- Ваше "вот и все",- она закурила, резко выпустила дым.- Хорошо, я буду откровенной, хотя что такое откровенность? Белый флаг поражения, сдачи? Последний шаг?

- Зачем?!

- Для вящей полноты ощущений, к вашему сведению. Испытать поражение не менее приятно, чем вкусить победу,- произнесла она, глянув на меня с каким-то высокомерием.

- Валяйте. Вкусим и того, и другого.

- А вы не будете смеяться надо мной?- спросила она

ков отправной пункт, топорный рисунок, по которому надлежит, порядочно послюбив карандаш, помусолить некоторое время, расцветить воображением.

- Во-вторых,- подхватила она,- проживает на свете некто, кому не терпится продемонстрировать незаурядный блеск ума, некто имярек, наделенный вдобавок к вышеназванным качествам, еще и чудовищной пронизательностью...

- Благодаря чему,- продолжал я,- этот второй, ваш имярек, находит достаточно сомнительным следующее положение: человек, за которого борются геронтологи, человек, имя чье не сходит с языка ученых всяких мастей, мечтателей, воспитателей, писателей,- тут прошу быть внимательной,- в силу рокового стечения обстоятельств попадает под машину.

- Я не хочу быть внимательной,- произнесла она сухо и отвернулась.

- Вот и все. Совсем не больно...- закончил я.

- Это приводит меня в уныние,- сказала она.

- Что? Что приводит вас в уныние?

- Ваше "вот и все",- она закурила, резко выпустила дым.- Хорошо, я буду откровенной, хотя что такое откровенность? Белый флаг поражения, сдачи? Последний шаг?

- Зачем?!

- Для вящей полноты ощущений, к вашему сведению. Испытать поражение не менее приятно, чем вкусить победу,- произнесла она, глянув на меня с каким-то высокомерием.

- Валяйте. Вкусим и того, и другого.

- А вы не будете смеяться надо мной?- спросила она

с опаской.

- Ни в коем случае,- сказал я,- Ни за что. С какой стати, подумайте сами, мне смеяться над вами?

- Я вам верю...- медленно проговорила она.

- Вот это напрасно.

- Вы позволите мне высказаться? Не перебивайте...

- Говорите, продолжайте, не обращайтесь внимания на меня. Я болен, есть такая болезнь, но это к делу, конечно, не относится.

- Не относится... - как эхо, повторила она.- А что относится?

Мы повернули за угол и вышли прямехонько на Фонтанку. Вера с нечеловеческой силой сжала мою руку.

- А... - выдавила она подавленно. Почему мы здесь? Как это случилось?

- Мы пошли по Площади Искусств,- сказал я.- А потом вышли сюда. Заговорились. Повернем?- И мы повернули.

- Я устала, удивительно устала,- снова заговорила она,- а до сих пор не замечала... И вот вы еще... Откуда вы взялись?- неожиданно спросила она.- Никогда прежде не видела вас, не слышала, а тут битых два часа вместе... и какой вздор! Почему? Вам не кажется наше... знакомство чересчур странным?- и как бы отвечая самой себе, она пожала плечами, уходя на шаг вперед,- Идем ко мне, как будто давно знакомы, будто я вас знаю, и вы меня, и говорим неизвестно зачем... Вы больной человек, ненормальный!- воскликнула она.- Мне понятно... Нормальный человек не стал бы... Нет, вы скажите,- она остановилась и посмотрела

мне в глаза, а в глазах ее мне ничего не было видно, я не мог даже цвета их определить, лишь прядь ржаная опять выбилась из-за уха, веснушки у носа, — Ваш друг... вашего друга нет, а вы?

— С чего вы взяли!

— Что взяла?

— Что моего друга нет?

— Это вам за наглость!.. — Я успел перехватить ее руку.

— Что случилось?— спросил я.

— Не знаю... — произнесла Вера. — Мне захотелось вам дать пощечину. Глупо, правда? Сердитесь?

— Не знаю... — сказал я. — А вам не кажется, что и я мог устать за это время? Вам не кажется, что со стороны вы как ненормальная? Ваш друг теперь на цинковом или мраморном столе остывает, а вы по кругу ходите, как слепая лошадь, с незнакомым человеком, остричь пытаетесь, о женихе думаете, драться хотите... Может быть, нам и впрямь устроить небольшое побоище? А? Скажем, на секирах, при огромном стечении народа — гладиаторский бой по всем честным правилам?

— Оставьте меня в покое! — крикнула она и даже хлопнула себя по ноге. — Оставьте, в конце концов, меня! Оставьте, идите своей дорогой, не говорите со мной, вы негодяй, каких... каких...

— Свет не видывал, — подсказал я. — И перестаньте плакать, — добавил, — У вас какая-то невыносимая привычка: чуть что — сразу в слезы.

Перед глазами опять блеснула Фонтанка. Мы вертелись на месте. Время? День шел на убыль.

- Мы снова тут,- бесстрастно проговорила она, но за руку меня не схватила.

- Вспомнил,- сказал я.- Вот видите, нет худа без добра. Я вспомнил.

- Нет... не-е-т, решительно не понимаю, почему я с вами. На что вы рассчитывали?- говорила и говорила Вера.

Испарина выступила у меня на лбу, и окончательно утвердилась картина завершения той сравнительно недавней ночи, которую довелось провести в обществе немого соседа и его приятельницы. Тряпки, почему-то подумалось мне, тряпки, и тотчас возникли страницы, рассыпанные по столу в горчичном свете: "его бездны значат не более, чем холст папы Карло, где намалеван очаг и прочее". И, стирая ладонью испарину, я пустился в неумный пляс по местам, всплывавшим, вспыхивавшим то в одной точке памяти, то в другой, то разом вместе,- кресло /я пренебрег спасительными возможностями истины/, сидящего человека в кресле-рассматриваю пристально, читая между тем страницы, заполненные аккуратно сверху донизу: "я осмелюсь уподобить себя дереву, которому все равно, которому безразлично-растет ли оно в саду императора, либо на склоне горы, что высится на несколько тысяч километров левее. Независимо от того, где оно и когда... оно обладает своими сроками произрастания, рождения, плодоношения и умирания...", а иногда всего одно предложение: "удивляюсь, до какой степени я обитаем...", которое обрывается, как искусно вы-

травленная тропа у края, а далее— принято говорить пусто-
та, но ограничусь— неведение, и уже шелест его чашуйчатых
сокрушительных крыл, расправляются, и я, принуждаю себя
дышать глубоко и ровно, страшась потерять меру в дыхании,
единственное, что мне необходимо для того, чтобы не рас-
таять воском, как при гадании, разглядываю человека за
столом; плечо, голова, от которой отслаивается ночной бе-
лизной лицо; читаю любопытство, брезжущее под веками, ко-
торыми прикрыты утомленно или высокомерно— проповедь, чита-
емая с отвращением или нарочно, чтобы позлить меня,— гла-
за, притом зрачок заламываю до оловянной боли, потому что
нельзя упускать из виду буквы, строки, а почему нельзя—
трудно сказать, вроде и можно забыть, отодвинуть от себя,
потянуться, зевнуть, взглянуть на часы, уйти, но что-то
не позволяет сделать этого... не потому ли, что слышу
вначале слабый, но со мгновения на мгновение сильней— глу-
ховатый надтреснутый голос: "Нет в том ничего зазорного...
В том нет ничего зазорного. Ты в плену обычного юношеского
самообольщения, ты готов увидеть все вокруг сгорающим в
огне неразрешимых противоречий, но, если у тебя достанет
мужества, стойкости,— подыми голову, запрокинь ее как-
нибудь, найди минуту,— облака плывут. Да? Не рассчитывай
узнать, куда они плывут, зачем они плывут. Возможно, ра-
но или поздно испорченные люди, размахивая руками, дока-
жут тебе, что ветер— это то-то, а облака— это обыкновен-
ные скопления паров, капель, а дождь... Тихо плывут об-
лака по небу, завтра их нет— куда ушли? И опять плывут..."

— Ну, на что вы рассчитывали!— слышен мне безутеш-

ный голос кого-то, ее, а кто? Она, я, мы с утра кружим и кружим на одном месте, и ей ничего не нужно от меня, и мне вроде бы тоже. Ах да! Душ, покой, прохлада луговая, мы, бессловесные и нагие, на простынях летних льняных распростерты в пеленах тусклых духоты; но нет ничего, что нам нужно было бы узнать друг у друга— и недавняя ночь вторгалась снова, опять, сопровождаемая жалобным сетованием моей спутницы.

Позвольте, позвольте, да этак мы с вами до второго пришествия ничего путного не выясним. Закуривайте... Давайте еще раз, по порядку, не горячитесь, не торопитесь, не нервничайте. Нервозность в нашем деле только мешает. Мы понимаем, что у вас со всеми ними связано как бы... тоже люди, как же, ну и вот, я повторяю— следовательно, возвращаясь... Что там у нас? Кто?

Кто? Да никто. Сколько можно повторять! Мельком, когда заходил в кафе, вы знаете это кафе, а больше ни разу. Мы даже не знакомы. Летом все одинаковы. Нет, он был... ну, не все ли равно, как он выглядел! Важно? Вероятно, я видел и раньше его. Он выше меня ростом, нос с горбинкой, крутой такой нос, худощав, при ходьбе приподнимает как-то левое плечо по-птичьи. Вот и все, что я заметил, несколько раз и все мимоходом. Раскланивались. Вы говорили, что не были знакомы. Конечно. Но когда живешь в одном квартале, приходится невольно здороваться; не знаю, но так, кажется, принято? Прикурил. Он прикурил, попросил спички. Нет, по-

казал, что ему нужны спички, — вот так, смотрите... Настроение, обычное паршивое настроение — сердце, давление. Сны мне не снятся, да.

Нет, ничего он не предлагал, и я не был у него. С чего вы взяли! Конечно, в другой раз я не упустил бы возможности. Почему? Как вам сказать... Хочется иногда поговорить. Вы говорите, что он немой. Да. Ну, так что же! Да нет, никогда не был, около своего дома видел, когда проходил. Я же говорил, что прикурил. Одет, как все, летом все одинаковы. Женщины? Вот чего не видел, того не видел. Я на них не обращаю внимания. Это вы бросьте! Вообще-то я обращаю на них внимание, но тогда мне было не до того. Когда? Тогда. А когда это? Примерно тогда, когда увидел его. Понятно, понятно... и один? Женщин не было. Не было, это точно, уж я бы заметил. Сумасшедший? Хм... Знаете, не думаю, а впрочем... Конечно, как я раньше не догадался! Точно. На лице написано. Да, теперь мне ясно. Что вам ясно теперь? Интуиция. Она меня никогда не подводила, не было случая... А работу я не бросал, решил отдохнуть, так сказать, набраться сил и приняться за труд посвежевшим, отдохнувшим, повеселевшим, энергичным. Хватит! Нет... Этого я не знаю. И никого не видел. А что, собственно, произошло? Почему? Невероятно! Под каким предлогом? Не возьму в толк... Ах, вот оно что. Ладно, буду иметь в виду, да-да, не сомневайтесь, в следующий раз все будет в порядке. Зачем? К сожалению, писать я не умею. Нет, умел, разумеется, но потом как-то на катке или на лыжах, все-таки на лыжах, — упал, ударился головой, вот этим местом — шрам ос-

тался, можете пощупать- и вообразите себе: как корова языком слизала. Ну что вы!.. Сплошь и рядом, сплошь и рядом бывает. Нет, не надо. Спасибо. Да. Благодарю. Да. Очень признателен. Бывает, бывает... До свидания, еще раз спасибо. Птичку поставить могу, крестик- что поделаешь! Палец, наконец, обмакнуть в чернила и приложить- раз и готово! Простите, с языка сорвалось. О чем я думаю? Вот еще что! О чем я думаю- ха-ха - ни о чем, у меня с этим, знаете, довольно туго. Понимаете? На лыжах, на коньках, шрам остался... зима, снег, иней...

Так и не разжимая ладони, в которую она мне что-то вложила при прощании, икая и пошатываясь,- выходит, что пили, пили... а бутылки?- брел я домой. Путь мой лежал через Академический сад. Ночное солнце сушило глаза. С вязов капала роса. Опишите мне дотошно, не пропуская ни единого ~~кляксы~~ отголоска, как срывается с коры, до этого набухая, вырастая в прозрачной округлости своей, капля, как она катится по ущельям рваным, волокнистым коры или вот дрожит в раковине листа, слегка обвисшего, увядшего, изогнутого, и- тонкие, как стропила,- прожилки текут не к центру, а к черенку, тронутому желтизной покуда незримой почти,- и утешением туман зыбкий и плоский- слоями, из его дома бегут капли, разбиваются и вновь соединяются, а человеку не следует быть здесь в этот час, потому что он помешает, а если и не помешает, то одурит от ленивого кипенья кизилового цвета,- боярышник свои махровые жестковатые соцветия таит, сирень тяжелая поникла листьями сероватыми, а темные окончания- не распустились кисти на конце- тоже

как будто туман аметистовый в белых полях, но не зима...— опишите мне, расскажите, и когда я увижу Академический сад, куда пришел, хотя домой в другую сторону,— через улицу метнуться, два шага, удлинить шаг, выстлаться шагом над асфальтом,— я продолжу: там должны быть доски в штабелях, а там, в конце— несколько огромных пней мраморных, базальтовых, гранитных. Шуршат вязы. И кусты разрастались неуклонно, неудержимо, и не прибегнуть было мне ни к какому сходству: пустая, пустая смешная голова после ночи с немым соседом— два игрока, но у него колода только на первый взгляд крапленая, а на самом деле не знает он, просто швыряет лицом книзу, рубашкой кверху, а та?— вложившая мне крест в ладонь, который я будто бы обронил, а я сам?— бормотанье: "охота...", а за бормотаньем не заметил, как кусты ринулись вверх, в стороны, руки раскинули, сплелись сучьями мокрыми, а у кизила ветви, как у терена, мелкие цветы яд точат,— шипы тончайшие врастают,— отраву и туман,— дым сладкий, синий. Неуследимо, сырым шелестом, как некогда на склоне, где двое и один из них я, но то давно и осенью: склон осенью, трава жухлая осенняя, сестра моя тоже осенью. Она постриглась, взрослее стала.

Я выбрал путь через Академический сад. Так мне хотелось. Я пролез в дыру в заборе и вступил. Идти мне пришлось скорее— прямо к другой дыре ^в забора, насквозь, однако я уже чуял, как бешеным ростом охвачены были пока еще недвижные кусты. Стало их больше. И мне надо было бежать, но я сдерживал шаг, оглядываясь. Мне необходимо было бежать, чтобы успеть вырваться из ползучей поросли кизила,

акации, хотя акации здесь быть не могло, мог быть боярышник, — незаметно, сырым шелестом, шорохом робким цепкие ветви, птицы не проснулись наверху где-то. Отодвигая в сторону листву, убирая ее со своего пути, я вышел к дубу. Дуб я знал, но кустов все же не было вокруг него, не стояли они тугой стеной, упругой, как дальняя лесная вода, а теперь были. Спины нескольких завидел. Я решил, что это художники. Остались ночевать в саду. Вечером праздник, разговоры, утро, рассвет, новая жизнь, молодость. И у меня молодость... Они дадут мне глоток вина, подумалось, добрый глоток какого-нибудь вина, сухарь, сигарету, и совсем не в этом дело — я побуду с ними, постояю, послушаю, скажу, послушаю, побуду, забуду, придумаю. Они должны быть художниками. Если на то пошло, они имели полное право находиться здесь. Кому еще? У художников в руках были кувшины. А немного погодя, отступая к кустам, разобрался я, что кувшины держат женщины. Пять или четыре... в тягучих, оцепеневших тяжелыми складками, долгих промокших платьях. Казалось, что в размышление погружены они и не слышат ничего за волосами, падающими на спину, на плечи, а у одной, что склонилась, и на лицо: длинные волосы, за которыми жили они; а та, что наклонилась, она светлее их, — из кувшина проливалась... молоко, осенило меня, — из кувшина лилось молоко. Приглядевшись, я понял, куда она лила его; и вот вторая склонилась бесшумно, а третья, — оборачиваясь, — я шаг еще в кустарник, окативший меня утренней стужей, — заговорила. Ни дуновения ветра, слова спутаны, падают, не долетая, волосы спадают на лицо — у

ног ее на траве сизой, холодной ничком лежал юноша— вот куда они праливали молоко; но туман еще не сошел, ночное солнце не выедаст туманы, оно растит их любовно по ложбинам, низинам слистыми коврами. У самой травы, покрывая юношу, не давая в зыбких очертаниях разобраться... Лежал ничком, и мне трудно было разглядеть его. Но у головы /там, где голова должна была быть и плечи/— не рассмотреть хорошо— тлела багряно ягодами сухая ветка. На поясницу, на ноги, на плечи текла, не разбиваясь, маслянистая струйка то из одного кувшина, то из другого, и то поднимая голову, раздвигая волосы, кто-то из стоявших говорил невнятно, произносил что-то, десяток слов — не бывает одного такого длинного слова,— то, опуская, умолкал. Но кто-то опускался на колени и вел по спине того, кто лежал ничком, рукой в широком темном промокшем рукаве, от затылка к ногам, а кто-то лил из кувшина молоко. Между тем народа прибавилось. Не было минуту назад, нет, конечно, ни голой девушки, незрячими глазами смотревшей перед собой, которую держал за руку старик в черной широкополой шляпе, ни самого старика, не было еще двух, разостлавших у ног стоявшей девушки черное покрывало, походившее на все ночи моего детства, а юношу, лежавшего без движения, укрывших белоснежным плащом. И оказалось, что кувшины пусты, в них ни капли, глухими лежали на траве, приминая ее кругло, и, может быть, потому улыбнулась девушка, и отступился от нее старик в шляпе, отпустил руку, сгорбился, поник, а девушка, все так же глядя глазами своими незрячими перед собой, подалась вперед плечами, сдавила левую

грудь, и несколько капель молока упало на покрывало у ее ног, а старик усмехнулся, и все тихо рассмеялись, словно ждали того, что она сделала, но она уже не улыбалась и смотрела на того, кто под белым плащом лежал, и вот распустилось по полотну пятно красного цвета, и какого яркого! и загорелись, вторя ему, ягоды, лежавшие подле головы его; легким коротким огнем, словно иссушены были, и пламя давно содержали в себе, и наконец пламя нашло выход—душа сока вспыхнула коротко, не озаряя ничего вокруг, едва освещая самое себя, и погасла. Слово силой какой вытолкнуло меня из кустов, и никакого отвращения, никакого страха не ощутил я, когда вышел, услышав, как ветка хрустнула где-то—наверно, под моей ногой. И как ни в чем ни бывало, поманил меня старик рукой, указал затем на один из кувшинов, лежавший ближе всех ко мне, и я его покорно поднял, опрокинул и сделал глоток, но не пустоты, как думал я, а того молока, которым омывали лежавшего,— дикая веселая боль обняла мое сердце, и я задохнулся, стали было уходить от меня вязы, белеть, покосилось небо, но взмах руки старика вернул меня к земле, к равновесию ее,— и сделал я еще один глоток: тут ясная голубая звезда зажглась над головой, сестра-печаль оставила меня, оставила меня осень, оставил меня отец, и пыль его развеялась по ветру, но третьего глотка я не сделал, почувдился мне крик жалобный, высокий, знакомый, странный, как бы птичий,— отвел я от губ край кувшина, потому что не забыл: избран для меня другой путь, не этот— выпьешь еще /долго дрожал, уплывая, крик, далеко, от меня/— и не жалец ты на белом свете. Да сохранит тебя

нездешняя сила, приятель, отзываться. И беги, если ноги несут, беги изо всей мочи,, беги. Многое ты поймешь во время бега, который очистит твое дыхание, избавит от суетности, отдалит лживое разнообразие окрестностей и положит к зрачкам взыскуемый тобой дар монотонности, магический кристалл, в котором лишено различий все известное тебе, в котором увидишь при желании могучее дерево: постоянство— его ствол, а ветви— время, ветвями, временем и окончанием его ты еще жив,— вмешиваются ядовитые флексии творительного падежа. А кладовая, где столько всего? Беги...

Тогда я бросился бежать.

Расскажите мне, как бегут! Поведайте о побеге, не нужно много, не упустите только, что все извели его сладость, и если бы не предел, за которым рушатся стропила—кости, гребень—позвоночник, за которым рвутся сухожилия, подобно нитям в руках детей на сильном ветру, когда непостижимо быстро уходят в лазурь безыскусные строения... гудящая бумага, древесина. Показалось мне, что выбежал я на набережную, а на том берегу положено лежать на плечах Александрийского сада слепо—золотой голове Исаакиевского собора, а у воды гарцевать юркой мышью всаднику, и справа, поближе, надлежало быть мосту, и слева, подальше, тоже непременно мост, но постойте: с реки начало, к воде льнем — у реки должен был оказаться я, ну да, вот и она стоит в зелени, затканная воздушными отражениями, да в какой зелени— в темени стоит, вернее, лежит телом душным, но откуда зелень, откуда пригорок с желтоватым песчаным пролежнем, где матовые каменные равнины, полные жаркого гула?

Не Академический сад окружал меня, другой. О, если бы Нева!.. снег, иней, я говорю, что будет лето, ты говоришь, что оно наступит, он говорит, что в природе всякое случается- бывает даже, и лето приходит. Снег, иней, скрип, ивушка канала.

Я бежал вдоль Карповки, и, оплетая каждый шаг мой тишайшим смехом, лукавое эхо мчалось рядом: "Куда летишь? Дурак, куда стремишься? Куда?"

Гипсовый рыболов картаво качнулся в мою сторону, блеснуло в окончании лезья, где крючок вороненый. Затем ты пробегаешь спящего солдата и поворачиваешь направо. Глуп, глуп не по годам. И рассказать-то толком не можешь, как бегут бегущие, как лежат лежащие, как стоят стоящие, как умирают умирающие и как уходят уходящие. Но ты бегущий, и тебе позволено передохнуть. Остановиться, перевести дыхание, прижать рукой прыгающие дома, привалаясь спиной к привычной решетке двора, ее сделал Сангалли, на ней чугунные розы и чугунные вычурные рыбы, хотя нет- какой Сангалли?- забор дощатый, побеленный сто лет назад, а за забором стена, а в стене прорезаны окна, залитые белым стеклом. Прислонился я к решетке.

По моим расчетам скоро, совсем немного осталось,- утро будет, то есть какое-то пространство, ограниченное тем-то и тем-то, в котором звонят будильники, и люди натягивают одежды, и варят яйца всмятку, вкрутую, жарят яичницы, заваривают чай, кофе, пьют анальгин, целуют возлюбленных в спящие глаза, гладят на прощание котиков, собак, черепах, крыс, и наоборот, когда женщины целуют кого-то

В спящие глаза, умиляясь себе и тем, кто спит, и выходят на остановку: кому за пишущую машинку, кому за паровой каток— вот чем защищен я. Но спит город, спят в холодильнике яйца, ветчина, спит водопровод, спят женщины, пиковые короли и червонные дамы, спят мужчины, и снится им что-то недоуменное, что-то невнятное о старинных приятелях, друзьях детства, что-то о головастиках в мелкой теплой воде, о сломанной удочке, о покупке машины... времени, и дети спят, оскалившись, как зверьки, клубками, когда им смешно,— оскал оскалу рознь. Кошка шла по моей стороне.

Я издали заметил, как она шла, чуть боком. Ничего особенного в ней не было. Шла обычная, заурядная кошка. Но не хотелось мне ее видеть— почему по моей стороне? Почему не по той? Иногда у кошки расцветали глаза, и она желто смотрела ими на меня. "Ага... Так-так...",— сказал я вслух и разжал кулак, но вместо моего креста на ладони увидел сухую лапку богомола на алой шелковой ленточке. Не знаю почему, я быстро оглянулся. Лапка богомола, казалось, была налита свинцом— громко всплеснуло, когда швырнул я ее в воду, точно камень бросил. А где круги? Мелькнула алая ленточка и пропала. Кошка следом метнулась и поплыла. Плавают ли кошки? Я посмотрел на часы и обнаружил, что они показывают десять минут первого. Теперь так-сколько я бежал? Откуда я бежал? Как я очутился тут, у Ботанического сада? Рыболова, когда я оглянулся, не было. На асфальте лежала дохлая крохотная плотвичка. И я дви-

нулся дальше. У собора Иоанна Кронштадтского, со скуки размышляя о людях фэнлю, я остановился еще раз. Дождаться утра на улице не было ни малейшей охоты— может быть, я по старинке и завалился бы где-нибудь под кустом сирени и поспал бы часок-другой, но не нравилось мне... не нравилось... что-то не нравилось. Озираясь,— не выходила из головы кошка с желтыми глазами,— я старался вникнуть в происходящее, нет, все, что было со мной каких-нибудь полчаса тому, сейчас меня не интересовало, я знал, что после вернусь и к старичку, и к кувшину, и к тому, кто лежал на траве, и к Немому, а к нему завтра же, то есть уже сегодня зайду: во-первых, его приятельница, во-вторых, записки... Мгла молочная понемногу заволакивала снизу и сверху дома, тополя. Над водой она была как-то особенно густа. От нелепости положения, в котором я очутился, хотелось смеяться и плакать одновременно. Смеяться от того, что по воле собственной глупости очутился черт знает где, а плакать... А плакать, признаться, хотелось потому, что не по себе было. И стоять мне... Какое там стоять! Кружить бы на месте долго еще, если бы не свист, который явно относился ко мне. Свист сорвался сверху. Туда и посмотрел я, уже не чувствуя ничего в наплывавшей откуда-то без конца жемчужно-белой мгле. И курить не хотелось.

- Ха-ха-ха!— раздался сильный ~~хихих~~ хохот.— Ты совсем одурел!.. Полюбуйтесь на него!

- Алымов?!— крикнул я, не веря выпавшей мне удаче.— Алымов, это ты свистел?

- Слушай! Забирайся сюда, живо, если...— конца я не

дослышал, потому что бросился к дому, откуда донесся голос и смех. Свист оттуда ~~жи~~ тоже, сверху, как бумажный голубь, — соскользнул гладко.

— Во двор, не сюда, во двор, направо, по заколоченной лестнице, вторая лестница открыта! Мы на крыше... — догнали меня слова, ворочаясь еле-еле в молоке, неудержимо заливавшем тротуар, воду, дома, и в котором я барахтался, теряя направление, слухом памятуя лишь — где, откуда.

На крыше существовал ветер. Седые космы сползали, напльвали, но не держались. На крыше мои приятели полулежали в шезлонгах: Алымов, известнейший богомаз, по пояс голый, в фуражке Лондонского королевского яхт-клуба, и хх, по грудь укрытый коричневым в зеленую клетку пледом. У ног последнего, черные вишни глаз отмыв ночью, вытянулась жемчужно-голубоватая борзая. Нежнее не было создания... Несколько бутылок стояло у ног их, одна, с шампанским, была почата. хх дремал, время от времени резко вздрагивая, точно от озноба.

— Ну? — спросил Алымов.

— Что "ну"? — огрызнулся я, присаживаясь на корточки. По лестнице я бежал, и на лестнице я был бегущим. — Я вот как выблюю, будет тебе "ну".

— Это одна из твоих форм эстетического переживания? Ты чего здесь, вот что меня волнует.

— Ох, оставь, пожалуйста! — вырвалось у меня. — Какое это имеет значение?

— А если не кокетничать? Имя ее можешь не называть.

- По-моему, я сегодня изрядно набрался,- пробормотал я.

- Ты отказываешься с нами выпить,- холодно сказал он, протягивая руку к бутылке шампанского,- Вот как прикажешь понимать твою неостроумную реплику, но считаю твои доводы неубедительными.

- Водки налей ему, водки,- пророкотал из шезлонга хх,
- Шампанского мало. Шампанское дамам. Кстати, Алымов, где они? Где наши глупые толстомордые дамы?

- Будут дамы?- полюбопытствовал я.

- Все будут,- буркнул хх.- Не встретить ты нас на свое счастье, ты бы сегодня повидал достаточно. Ох и достаточно.

Я отпил вина и спросил:

- У вас именины?

- Мы с хх женимся,- ответил Алымов и захохотал, а потом закашлялся.

- Эвфизема,- сквозь кашель услышал я Алымова.

- А что вы здесь делаете?

- Неужели тебе не по душе наше времяпровождение! Тебе хотелось бы видеть нас в шахте, с отбойным молотком?- спросил хх, потрясая над головой рукой с вытянутым указательным пальцем.

- Ему хотелось бы увидеть нас на сцене Большого театра,- давясь от хохота, присоединился Алымов.- В балете "Спартак", нас, больных старых людей, в балете "Жизель".

- Да нет...- просто рад, что увидел вас,- сказал я. В самом деле.

- Мог бы и почаще радовать себя таким образом,- за-

метил хх.- И не удивительно, что он рад,- обратился он к Алымову,- Завтра еще не так будет радоваться.

- Да,- поддержал его Алымов,- Завтра ты возрадуешься, приятель, прямо-таки возликуешь.

- А почему? А потому,- рассуждал вслух хх,- Что останется живым, здоровым и невредимым. А вот друзья твои...

- помедлил он немного и хотел было продолжить, но я его перебил:

- Послушайте,- сказал я,- Нет такого человека, которого вы бы не знали... Не встречался ли вам на Васильевском человек, лет ему примерно столько, сколько и мне. Так вот он не то что бы немой, но придуривается немым, и девушка у него живет...

- Есть такой, есть... - проговорил хх, морщась.

- Ты имеешь в виду Чернышева Липуню?- осведомился Алымов.

- Он и есть,- ответил хх.

- А кто он такой?- спросил я.

- Вор,- убежденно сказал хх,- Грязный, вонючий вор.

- Теперь он не вор,- возразил Алымов,- Ты несправедлив к нему.

- Все равно у него психология вора и стукача,- отрезал хх и, ко мне обратясь:

- Но почему мы говорим о людях крайне неинтересных? Почему одинокий человек, такой, как я, должен тратить драгоценное время на мерзавцев? Подвергать их личность анализу, расходовать бесценную энергию? Кто объяснит мне это? Да, я совершенство, само совершенство... Однако, кто знает, насколько я трагичен в своем совершенстве?

- Послушайте,- сказал я, доливая стакан доверху,- Предлагаю отвлечься от нерадующих нас откровений и выслушать мою историю.

- Ты что-то понял из того, что сказал вот этот... вот этот! - хх снова вскинул руку над головой и потряс указательным пальцем.- Нет, ты понял? Отвлечься от нерадостных откровений, вот- выдохнул он и проследил как упала его рука,- У меня руки скрипаца, у меня руки выдающегося пианиста, руки талантливого человека- они могут такое делать, такое! Они могут ничего не делать вообще...- дальше хх, видимо, запутался в мыслях и угрюмо засопел.

- Возвращаясь к истории, которая произошла со мной сегодня ночью,- опять начал я,- Я желаю напомнить...

- Ты... Я тебя люблю как никого,- сказал хх,- Ты великий мистик, тебе открыты все тайны...

- хх, послушайте в конце концов! Вы прете и не даете человеку излить душу,- сказал Алымов.

- А-а-а!- неожиданно тонко воскликнул хх,- Рассказывай.

Рассказывал я недолго, вкратце, обозначая событие, место, действующих лиц. Окончил кошкой, которая прыгнула в Карповку.

- Ну, дальше вам известно. Ты, Алымов, свистнул...

- Тебе бы по голове хорошенько свистнуть,- сказал он мрачно,- М-да: свистнуть, чтобы в следующий раз неповадно было шляться по ночам.

- Что-то уж много чудес...- огорченно пробормотал я, заметив, что рассказ мой не возымел должного действия.

- Да,- куда-то в сторону сказал Алымов. Потом посмотрел вверх, поправил фуражку, откинулся в шезлонг, поерзал спиной по холстине, устраиваясь поудобнее.

- Да,- повторил он,- Чудеса... Ну что ж! чудеса как чудеса.

- Дилетанство,- сообщил из своего шезлонга жж.

Мы молчали. Долго молчали. Я не знал, что с ними происходило. Их будто кто-то отключил- сидели и молчали. И я молчал. Петь я не умел. Да и пение было бы тут крайне неуместно.

- Алымов,- поднялся из шезлонга, роняя на крышу плед, жж,- Алымов, завяжи ему глаза. И как следует завяжи. Понял?

- Думаешь, пора?- спросил Алымов.

- Несрмненно.

- Зачем? Мне совсем не хочется торчать с завязанными глазами,- сказал я.

- Ха! Много ты понимаешь!- вскричал жж, глядя на меня с усмешкой.

- А он наигрывает...- заметил Алымов, вытаскивая из кармана какую-то ~~тряпку~~ тряпку,- Он наигрывает, как лошадь. Сойдет, сойдет, не смотри так на меня... Парчи у нас, увь, нету.

- Разве ты не знаешь,- медленно проговорил жж, поворачиваясь ко мне спиной,- Разве ты не знаешь, что сегодня самая белая ночь? Смотри, паренг, недолго и ослепнуть... и оглохнуть недолго. Сегодня, если мне не изменяет память, дьявол поет нашу песню. Скорее!- приказал он, и в ту

же секунду какая-то птица чиркнула крылом почти у самого моего лица, где тотчас пробежала излучина холода, — еще гримасу боли заметил я на лице хх, гримасу, судорогу, — Скорее! — заорал он, и Алымов принялся заматывать мне лицо.

— Что это за птица? — спросил я, мотая головой в руках Алымова.

— Это твой отец! — крикнул мне хх. — А теперь не мешай нам. Понял? Тебе завтра ликовать и радоваться, — проревел он в последний раз, и все умолкло.

— В щелочку, вившуюся светлым волоском откуда-то из-за ~~уха~~ уха к подбородку, которую Алымов, очевидно, по причине поспешности оставил в повязке, я увидел, как побелели их лица и капли пота выступили на щеках, лбах, как заострились черты и дыхание стало тяжелым и беспорядочным. Прищурясь, они неотрывно смотрели за край крыши, вниз, ~~куда~~ потом вышли из поля моего зрения, не переговариваясь, — одно дыхание мне было слышно и то, как тихонько поскуливала борзая. И не было нежней ее никого на всем свете.

Я же устроился в шезлонге и стал зябнуть; потом задремал, кажется, потому что лифт опять уносился кверху и двери моей квартиры, где комната с книгой про Акрополь, опять пролетали мимо, — а они все стояли, и я их не видел, но слышал, как они дышат. Наконец кто-то сказал что-то, потом они замолчали, громыхнуло рядом, и опять разборчивей, гораздо внятней:

— Этого не было.

— Во всяком случае в прошлом году мы его не видели... — негромко отозвался хх.

- Хм... Точно не было. Не из воздуха ведь он соткался. Почему мы ничего не знаем?— и кто-то ^{дальше} шепчет, и ответ возмущения в стеклах, которые представляются мне вложенными в прекрасные древние стены.

А я, снимая повязку /уже ненужная, лишняя/, ни с того ни с сего говорю им:

- Это Герцог. Только дурак его не знает.

Восходит солнце. Для убедительности я повторяю солнце восходит. Я подхожу к краю, где стоят мои приятели, смотрю вниз.

В клубах белых мотыльков— капустница?— и в них я без труда читаю несколько истинных примет полдня— по-старчески, боком, подпрыгивая, как бы дребезжанием откликаюсь, с шестом в руках; очками неизменными бутылочными заслоив единственный глаз, в одних лишь сатиновых трусах до колен бугристых от ревматизма и с черепахой на предплечье вытатуированной— шел, уходя /спину вижу/, Герцог.

Кажется, зашелся я приветственным криком, а отдышавшись, вынырнув из радужных колец удушья:

- Герцог прибыл. И я уйду с ним. Вот увидите, уйду с ним!— кричу опять.

- Ну и фрукт...— с некоторым изумлением произносит Алымов, обнимая меня за плечи.— Будь здоров какой фрукт!— и какую растерянность я слышу в его словах!
